

Сергей Евелев ПОД ОСТРЫМ СОУСОМ

Сборник прозы

Две жизни



Автобиографический очерк

Каждый человек живёт как минимум две жизни: одну — действительную, а вторую — желаемую. И происходит это одновременно. Чем

меньше разница между ними, тем более счастливый человек перед нами.

В данном случае скажу, что я — человек счастливый. Вывод этот я сделал, написав биографии каждой из жизней... Писал я их одновременно, то берясь за одну, то перескакивая на другую. Иногда даже путаясь, «где правда чистая суровых будних дней, где вымысел, мечтами вдохновлённый»... Но в какой-то момент я вдруг понял, что они — как две капли воды: похожи и не похожи.

Одна капля, вернее, биография, чиста, как капли из Байкала (когда вода в нём была ещё чистая).

Вторая — солёная; она — из моего родного Чёрного моря, где вода сегодня (судя по тому, что на многие годы исчезнувшая рыба вернулась) снова чистая.

Не бойтесь — попробуйте по капле... А вдруг понравится?

...Я родился в Одессе в приличной интеллигентной еврейской семье. Приличной — это было мнение соседей. Интеллигентной — это моё мнение. А то, что еврейской — это было мнением общественности.

Отец мой был дирижёром, а мама филологом, хотя музыкантом и не была, но музыку знала и

любила. Ну и, естественно, что при таком раскладе участь моя была предрешена, и занимался я музыкой с детства.

За окном — начало шестидесятых. А семья была, как вы помните, интеллигентной, в связи с чем (или по каким-то другим, никому не понятным причинам) ни мама, ни папа работы в городе Одесса найти не могли (хотя мы в это время знали только про безработицу в Америке и других странах бессовестно и нам назло победившего империализма).

Так в самом раннем детстве я оказался в Средней Азии, в Фергане, которая в те годы, по-видимому, очень нуждалась в специалистах, причём особенно остро — в дирижёрах и филологах!

Итак, тогда ещё «ближний» нам Восток...

Из контактов духовных — практически не помню ничего.

Из контактов физиологических — помню плов, который в знак большого уважения хозяин дома руками с грязными чёрными ногтями запикивает в рот гостям, о судьбе которых боюсь даже думать.

Два падения:

в арык с холодной водой, где пролежал минут сорок, пока меня искали. Оттуда, по-видимому, тяга к морским купаниям и плохой вестибулярный

аппарат;

и в тандыр — (яма в земле, где пекут лепёшки при очень высокой температуре), откуда тяга к настоящей парной.

Хотя, справедливости ради, надо уточнить, что в тандыр я упасть *пытался*, но был вовремя пойман и извлечён наружу рукой удивительного человека, о котором хочу сказать несколько слов.

Я считаю, что каждый, достигший высот в своём деле, имеет право называться Мастером, и должен пользоваться уважением соплеменников и особыми государственными льготами. Таких людей всегда было и будет мало, наверное, менее одного процента любого населения.

И не важно, кто это: циркач, виртуозно и с лёгкостью выполняющий невероятные трюки под куполом цирка, лётчик, посадивший на воду горящий самолёт, или скрипач, слушая которого забываешь обо всём. Мастерство — оно на то и есть Мастерство! Умом здесь не объять, словами не описать, поэтому остаётся только лицезреть, восхищаться и жалеть себя, любимого, которому это не дано!

Так вот в нашем обычном ферганском дворике жила такая бабушка. И было ей, как мне тогда казалось, лет сто. Теперь я понимаю, что ей могло быть и пятьдесят, и вообще сколько угодно... Когда тебе пять лет, все, кто старше тебя — уже

старики, а все, кто старше тридцати пяти... вообще непонятно, как до сих пор живы?

Она пекла лепёшки в том самом тандыре. Делала она это, видимо, давно, и набила руку настолько, что иногда казалась: она спит и работает... (наверное, мечта многих из нас — работать во сне)...

Выходила она на двор с тазом, в котором было тесто.

Доведя тандыр-печку до правильной кондиции, когда все дрова прогорали, и из неё шёл только жар без огня, бабушка отрывала кусок теста, мяла его в руках, превращая в лепёшку, и ловко бросала в тандыр. Фокусов здесь было много. Первый состоял в том, что сырая лепёшка прилипала к стенке тандыра, но только если тесто бросала она. Сколько я ни пробовал бросать, ничего не прилипло, и сырая лепёшка падала на дно, где вскоре и сгорала в углях... Следующий трюк был в том, что она туда набрасывала много лепёшек, и всегда находила свободное место, и одна не касалась другой, почему-то прилипая в точно отведённом для неё месте. Дальше — больше.

Наступал торжественный момент — снимать лепёшку, когда она была уже готова. Во-первых, я никогда не понимал, как это определить. Во-вторых, температура внутри агрегата была очень высокая, можно было продержаться в нём руку

максимум четверть секунды, и на отдираание горячей лепёшки от горячей стенки времени не оставалось.

Оказалось, когда лепёшка готова, она сама отлипает от стенки и без посторонней помощи... падает на дно, где её постигает та же участь, что и других несчастных, не доброшенных мною. Но перед тем как «покончить жизнь самосгоранием», лепёшка издавала какой-то ультразвук, видимо говоря: «Я готова, иду падать-сгорать, если только вы не...» — и в этот самый момент, делящийся, я думаю, одну двадцать пятую секунды, бабушка запускала руку в тандыр и вынимала её оттуда уже с готовой лепёшкой. Как она слышала лепёшкин крик о помощи, откуда знала, какая лепёшка уже готова, а какая ещё нет, и потому пока молчит (там ведь их было наклеплено по стенкам много), как успевала каждый раз точно подставить руку в правильное место? Как не обжигала руку при этом? Эти и другие вопросы так навсегда и остались без ответа. Я и до сегодняшнего дня не понимаю, как она это делала...

«Мастерство не пропьёшь!» — как очень точно сказал какой-то древний мастер, пропивший своё мастерство, и я с ним совершенно согласен.

С высоты прожитых лет могу сказать, что отношения у меня с музыкой складывались непростые. Мы с ней все эти годы бегали — то друг

от друга, то друг за другом. Так иногда складываются отношения у супругов: им и вместе тесно, и порознь неуютно. И не то чтобы мы с музыкой были рождены друг для друга (как в случае с Моцартом, Чайковским и Шостаковичем), но явно какая-то тайная связь между нами была, и как вскоре окажется — осталась.

Итак, мы жили в Фергане. Папа работал дирижёром Ферганского театра оперетты. Соседями нашими была семья Абдуловых. Да-да, тех самых. Но тогда я ещё не знал, что Саша станет знаменитым артистом, и с ним просто дружил.

Мы гоняли по лужам, бросали камни в окна, дрались, соревновались, кто скорее «настучит» на другого — в общем, занимались тем, чем занимаются дети и что должно было пригодиться нам уже потом, во взрослой жизни. Кстати, многие детские навыки вполне даже остаются с некоторыми товарищами на всю жизнь, особенно — бить окна и стучать на соседа. Но никакого идолопоклонничества между нами не наблюдалось (поди знай), и поэтому я у него автографа не взял (вот бы была реликвия — автограф Абдулова в возрасте семи лет!). В свою очередь, они не знали, что я окажусь в Америке, и тоже не записали адресок на всякий случай. Вообще-то теперь, по прошествии множества лет, я понимаю, что дружбу если и можно свести, то только в юности. Если тебе

повезло, и ты нашёл друга, то есть шанс пройти с ним рядом всю жизнь. Тем же, у кого в юности по какой-то причине не получилось, шансов найти друга или даже друзей в зрелом возрасте намного меньше. Не поймите меня превратно, найти приятелей — это запросто. Друзей — трудно. Здесь, наверное, для ясности нужно дать определение и тем, и другим. Приятели — это такие товарищи, с которыми можно ходить в баню, ездить на рыбалку, посещать развлекательные заведения с девушками на выбор, пить пиво и рассказывать скабрёзные анекдоты, т. е. культурно отдыхать.

Друзья же — это те, кто всегда незримо идут по жизни рядом с тобой и появляются, когда нужно. Вы как братья-близнецы: и понимаете друг друга с полуслова, и заинтересованы в том, чтобы другому было хорошо, весело, сытно и счастливо. Просто знания того, что этот человек где-то есть, уже достаточно, и от знания этого спокойней, что ли, на душе. Вы, если и завидуете друг другу, то не до скрежета зубовного и бессонных ночей (потому что у него *есть*, а у меня — *нет*), а так, по-дружески радуясь за него, когда у него всё в порядке... Поплакаться в дуэте с товарищем может каждый (сочувствуя его горю, сопереживая его неудачам), а вот порадоваться, что он выиграл двести восемьдесят шесть миллионов, может только самый настоящий друг. Хотя, скорее всего, этому и

радоваться-то нелегко... даже если ты друг... особенно когда *понимаешь* , что, конечно, правильней было бы, если выигравшим оказался бы не он, а, например, ты... но это уже совсем другая история. Забегая вперёд, скажу, что с друзьями у меня как-то не очень получалось. Один был, но в третьем классе его семья уехала в Америку. Другой с родителями уехал в Германию, папа у него был военным... и след их затерялся.

Ну, пожалуй, вернёмся к театру музыкальных комедий, где я и рос. В очень юном возрасте я уже знал наизусть все спектакли и пел их вместе с певцами, иногда подсказывая им слова из папиной оркестровой ямы, причём совершенно безвозмездно, что, как я сейчас понимаю, было непростительной расточительностью. Я там мог запросто, собирая даже по одной копейке с актёра за подсказку одной фразы, скопить на «Жигули», которые купил бы, когда вырос. А если бы все эти деньги сложить и вложить тогда по курсу в самый что ни на есть *завалиющийся* швейцарский банк... это ведь жуткие деньги бы собрались!

Особенно я любил проводить время в гримёрках, где переодевались и гримировались женщины. Что-то было в этом магическое, необъяснимое. Видеть, как перед твоими глазами чья-то мама, которая полчаса назад стирала бельё, готовила борщ и мыла пол, постепенно

превращается в королеву или, наоборот, даже бабу-Ягу — это не каждому довелось...

Не подумайте, что я намеренно избегал мужских гримёрок, но по причинам, до сих пор мною до конца не понятым, меня тянуло именно в женские. Кстати, чудо этого превращения женщин я люблю наблюдать и до сих пор, но меня как-то не очень допускают... а зря. Я бы, может, чего ценного подсказал, подсмотрев, что они там делают.

Вообще я думаю, что в подсматривании главная сладость не в том, что ты видишь (что тоже бывает приятно и иногда даже полезно), а в двух других составляющих, о которых я как-то раньше не задумывался. Во-первых, это — дело запретное, а запретное всегда имеет острый вкус и сногшибательный запах. Но главное — то, что подсматриваемый не знает об этом, так как он, или чаще она, разрешения тебе на подсматривание никакого не давала. И это наделяет тебя невероятной властью, силой, делает владельцем ситуации, королём, богом, в конце концов, пусть даже на пять минут. Это иногда превращается в болезнь — именно по причине ощущения власти и вседозволенности, которых многим из нас не хватает.

Естественно, что там, в Фергане, за пять лет со мной случались всякие истории, которые

наверняка случаются со всеми детьми, проводящими много времени на улице... Очень жаль, что многие из современных детей такого «общения с жизнью» лишены. Думаю, что эту школу жизни ничем не заменишь, ни компьютером, ни книгами, ни даже репетиторами или заграничными гувернантками. То было живое, настоящее и зачастую болезненное прикосновение к природе, к людям, в их, если хотите, сыром или первозданном виде. Это когда все чувства нараспашку: что думаю — то и скажу; что хочу — то и сделаю в надежде, что не поймают. Это та самая беспощадная реальность, рядом с которой придётся идти всю жизнь, и чем раньше с ней встретишься, познакомишься и будешь ею бит — тем лучше. Сегодняшних детей, мне кажется, слишком сильно опекают, кутают, оберегая от жизни. И выходят они со знаниями прикладными из институтов престижных, с долгами за учёбу и полным отсутствием знания жизни и понимания того, как к ней приспособливаться и куда знания эти прикладные приложить.

А у кого же ещё учиться жизни, кроме как у неё самой? И ошибаться, и падать, и быть обманутым не раз. И вставать, и опять падать, и быть преданным, и ненавидеть, и мстить, и быть битым опять и опять?...

Ну, ладно об этом. Возвращаемся к приключениям маленького мальчика родом из Одессы, волею судьбы занесённого в детстве в Фергану, где, как я уже говорил, с ним всякое разное случалось...

Как-то мне в волосы вцепилась летучая мышь, и папа её от меня долго отрывал, причём вместе с волосами. Я кричал. Долго и пронзительно. Но мыши мой вопль, судя по всему, не мешал. Хотя, возможно, она меня с какой-то крупной дичью перепутала, и от моего нечеловеческого вопля у неё хватательный аппарат и заклинило. Несовершенный, видать, у неё хватательный был аппарат. А ещё говорят — природа, естественный отбор, лучшие гены... Что там у неё с генами? Напортачила природа или товарищи горе-генетики?

Все соседи стояли вокруг папы и советовали (Страна Советов — помните?).

— Гриша, — говорил один (Гришей звали папу), — ты ей закрой глаза. Ей станет темно, она подумает, что уже ночь, и полетит охотиться!

— Гриша, ты попробуй ей поджечь крылья — ей станет жарко, она испугается и улетит (без крыльев, что ли?), — советовал другой.

— Гриша, ты ей в ухо громко крикни, у них, говорят, очень тонкий слух, — она оглохнет, испугается и улетит (видимо, к врачу

«ухо-горло-носу»), — и ещё много разного в том же духе.

Со временем летучей мыши, видимо, дурацкие советы надоели, и она, отрегулировав хватательную функцию, отпустила меня и улетела домой (чтобы рассказать невероятную историю о том, как застряла в человеческой голове), не убитая, не оглохшая и не сгоревшая... а я, слава Богу, остался.

Или ещё, помню, жила у нас немецкая овчарка по кличке Инга. Она была тренированная и огромная, а я был маленьким и иногда ездил на ней в магазин верхом, как на лошади. Она шла спокойно, а я гордо, как маленький джигит, сидел на ней и держался за ошейник. Но однажды где-то что-то загорелось, и мимо нас с воем промчалась пожарная машина. Инга, хотя в пожарах разбиралась плохо, но сразу поняла, что без неё не обойдутся. Она очень правильно среагировала на пожарную сирену — и тоже поспешила на пожар.

Я некоторое время, отчаянно вцепившись в ошейник, ещё держался в седле, но мой скакун нёсся всё быстрее и быстрее. С цирковой сноровкой у меня тогда ещё не задалось, и я упал из седла. Это, наверное, было бы для меня лучшим решением — свалиться. Но решал не я, а, видимо, судьба. Поэтому, по её велению или по стечению обстоятельств, я вывалился частично. То есть с

«коня»-то я упал, но рука моя застряла в ошейнике.

Итак, «картина маслом» выглядела следующим образом (записано со слов свидетелей): собака бежит по дороге вслед за пожарной машиной и лает на неё. За собакой волочится ребёнок, держась рукой за ошейник. Правда, это рассказывать долго, а произошло всё, по-видимому, очень быстро, и я от собаки, в конце концов, отвалился — то ли ошейник порвался (что вряд ли), то ли просто рука выскользнула.

Детали помню плохо. Очнулся я — лежу на земле, и Инга усиленно лижет меня, видимо, зализывая свою вину. Собака, а понимает! Глаза у неё расстроенные. Понятное дело: из-за меня не попала на пожар, и там всё теперь сгорит без неё...

Побился я прилично, пока меня тащило и дубасило всем не окрепшим ещё организмом об дорогу.

Слава Богу, дорога была не очень асфальтированная, и мои ранения были хотя и множественными, но не смертельными.

Потом, после доставки домой, я был дополнительно бит мамой (не знаю точно, за что — скорее всего, за то, что напугал собаку и пожарных), потом пришедшим с работы папой (видимо, за то, за что был недобит мамой), и только потом меня жалели-лечили-мазали йодом, кормили сладким — в общем, использовали весь набор

ингредиентов для скорейшего выздоровления пострадавших детей, потёртых собаками об землю и незаслуженно побитых собственными родителями, чтобы как-то сгладить впечатление от случившегося.

Конечно же, там было ещё много разных историй, но, во-первых, всего не упомнишь, а во-вторых, не будем географически заикливаться и двинемся дальше. Хотя вот ещё последнее ферганское воспоминание: к нам в квартиру без предупреждения и без стука входит мой друг Рустам, а я в это время стою в центре комнаты со спущенными до пола штанишками и, видимо, ещё и трусишками. Напротив меня стоит моя подружка по имени Малахатка (не шучу!) с задранной платицей и тоже спущенными до пола трусиками. Мы, видимо, что-то друг другу демонстрировали (говорят, что это все в детстве делают). Рустам от увиденного онемел. Общая пауза секунды на две-три, потом он убегает с криком: «Мама, мама, а они друг другу пьськи показывают!» Девочка (мгновенно одевшись) убегает с другим криком: «Ничего мы друг другу не показывали!», а я, видимо, ещё под впечатлением от увиденного, стою всё в той же позе, постепенно возвращаясь в беспощадную реальность. Потом я возвратил себе статус-кво и на древней книге поклялся убить Рустама за то, что он мне всё свидание испортил. А

у меня, может быть, на этот вечер были далеко идущие планы... Нам всем тогда было лет по пять.

После возвращения из Средней Азии началась эпопея под названием «Одесская средняя школа номер 117».

Школа была большая, красивая и, видимо, престижная. А я должен был, вообще-то, идти совсем в другую школу согласно району проживания, но где-то что-то подкрутили или кого-то подмазали, и меня взяли, куда надо было. Всё это делалось для того, чтобы я попал в класс к Людмиле Семёновне Зильбертер. Она была потрясающая учительница. Всё знала, слышала каждый *шис* и всё видела, даже спиной. Всех помнила по именам и фамилиям (а нас было человек сорок пять юных бандитов и бандиток), и ещё она умела страшно сверкать глазами, если сердилась. Мы этого ужасно боялись и не только старались сидеть тихо, но от страха ещё и домашнее задание выполняли фанатично.

Однажды мне был преподнесён урок, смысл которого до меня дошёл спустя много-много лет. Но тогда, я помню, так перепугался, что несколько дней меня трясло от страха. Была перемена, на который мы все шли в буфет, где нам выдавали булочку и стакан молока. Ну вот, сидим мы тихо-интеллигентно, едим свой полдник, никого не трогаем, и тут к нам, как всегда, абсолютно

беззвучно (я думаю, что она окончила местную разведшколу для пожилых агентов, где и научилась всем своим штучкам-дрючкам) подходит всеми нами ужасно любимая классная руководительница, та самая Людмила Семёновна. А я её, естественно, не видел, так как она подкралась сзади. Я же именно в этот момент рассказывал что-то смешное, причём, видимо, именно о ней, передразнивая её манеру говорить. В какой-то момент я заметил в глазах моих слушателей ужас, смешанный с кошмаром и умноженный на «караул!». Кто ещё помнит, в десятилетнем возрасте любопытство было самой главной частью тела и жизни — и я повернул голову.

На меня беззвучно и как-то яростно (как мне казалось) в упор смотрели её сверлящие глаза разведчицы, и я... испугался. «Всё! — подумал я, — выгонят из школы, куда меня с таким трудом впихнули вопреки району проживания. Выдадут мне «волчий билет» (что мне часто пророчила бабушка, хотя я точно не знал, что это за билет такой и кто меня с ним посчитает волком), и останусь я неучем и дураком на всю жизнь (это уже мамыны наставления)».

И тут я, от страха или от неожиданности, или уж не знаю сам, от чего ещё, вдруг прыснул... и весь этот коктейль из молока и булочки мгновенно перекочевал из моего рта на лицо и платье

Людмилы Семёновны. А она всегда была такая нарядная, красивая, причёсанная, чисто и строго одетая... Видимо, школа для неё была настоящим праздником (для нас, кстати, тоже, что я совсем недавно понял, хотя сейчас с этим пониманием уже ничего и не сделать).

Это был кошмар... И я подумал, что сейчас умру от ужаса — быстро, но мучительно, без суда, следствия, прокурора и приговора. Начитавшись всяких мушкетёров и королей Марго, я буквально чувствовал, как над моей головой палач заносит меч, и этот характерный свистящий звук означал, что самая нужная из всех голов — моя — сейчас отделится от тела и с глухим звуком покатится по ступенькам в толпу, всё ещё обезумевшую от страшного зрелища... но она, Людмила Семёновна, гениальная учительница, не сказав ни слова, повернулась и ушла.

На следующий урок нам дали замену. Но потом она появилась вновь, уже приведя себя в порядок, переодевшись... и о случившемся ничего не сказала.

Я только спустя много лет, прокручивая в памяти этот случай, понял, кем была она и многие другие люди, с которыми столкнула меня судьба, какую важную роль каждый из них сыграл в моей жизни, как многому я у них научился...

Я думаю, что формируют нас те, кто рядом с

нами первые годы нашей жизни. И мы обращаем внимание на поступки их гораздо больше, чем на то, что они говорят. И попытки перевоспитать любого из нас в более позднем возрасте обречены на провал. Всё, что можно и нужно было, уже и сказано, и сделано. А дальше этот человеко-коктейль или винегрет лишь только пополняется новыми ингредиентами и специями. Это, без сомнения, вносит новый вкус, оттеняя одно и выпячивая другое, но по сути дела блюдо не меняет. Может быть, только крепчает замес с годами да уменьшается отрезок времени, необходимый для того, чтобы маску сменить с папы на сына, с сына на любовника, с любовника на преподавателя, а с того — на просителя-начальника, организатора, лизоблюда, прилипалы, садиста... ну, и на многие другие, весьма в жизни распространённые персонажи. Это я в детстве думал, что они все — люди разные. А потом, повзрослев чуток, понял, что иногда это один и тот же субъект, в разных ипостасях выступающий и маски меняющий соответственно ситуации. Просто одни это делают быстро и виртуозно, а другие медленно, всем заметно и очень топорно. Особенно это у политиков заметно.

А в пятом классе я неожиданно для себя узнал, что я еврей и что это не очень хорошо. Как-то у нас пропал классный журнал, а потом,

через несколько дней, опять появился. Дирекция долго его изучала на предмет исправленных оценок, но так ничего и не обнаружила. Или сработали здорово, или не для того брали.

А в журнале, наряду с именами и оценками, кто ещё помнит, были прописаны родители и... национальность. (Зачем только? Может, чтобы знать, кого бить?). Хороших национальностей в те годы было много: русский, украинец, белорус, узбек и друг степей — калмык (кто-нибудь когда-нибудь видел живого калмыка в степях?). А вот плохая была одна. Она называлась — еврей. Причём если остановить людей тогда на улице любого города и спросить: «Почему плохо быть евреем?», не знаю, что бы они такое могли ответить. Потому что среди них много умных? Серьёзных? Талантливых? Трудолюбивых? Потому, что им нужно было быть на голову выше других, так как их гнали, не брали, не пускали, затирали, били, не любили (или я уже об этом говорил?).

Эпизод с пропажей журнала вскоре забылся. И вот в один прекрасный день ко мне подошёл ученик параллельного «Б» класса, который потом стал профессиональным бандитом (поговаривали, что даже профессиональным убийцей), и так, безо всяких затей, сказал: «А я всегда знал, что ты ЖИД», — и ударил меня в лицо кирпичом. То ли он сам журнал утащил, то ли сделал перепись евреев,

одолжив его у грабителя на денёк — не знаю. Предполагаю, что у него был запас кирпичей и список тех, на ком он крепость кирпичей этих собирался проверять. Тренироваться для будущей карьеры на ком-то ведь надо было? А тут мы — как раз рядом и тогда ещё в большом количестве. Плюс то тут, то там говорили, то ли в шутку, то ли всерьёз: «Бей жидов, спасай Россию!» Интересно, что для спасения отдельных стран бывает часто — нужно кого-то бить, а кто помнит историю, так ещё и сажать, ну, а если не помогло — то убивать. От этого отдельная страна становится лучше, чище, дисциплинированной, и жить поэтому в ней — одна сплошная радость, что сейчас уже понятно всем, даже дуракам.

Ну, так вот, многие из нас, будучи людьми ответственными и обуреваемыми к тому же патриотическими чувствами, решили, что ради спасения такой великой страны можно даже и себя принести в жертву. А вдруг поможет... И... уехали, решив, что подставлять вторую щеку под тот же кирпич будет для полного расцвета и победы коммунизма и его недоделанного шизофренического брата-социализма недостаточно. Спасать — так спасать!

Помогло это Советскому тогда Союзу или нет, я не знаю, но, как показало будущее, тогда в школе я оказался первым и последним в этом

«кирпичном» ряду. У меня на всю жизнь остался поломанный нос и понимание того, что ЖИД — это не очень уж и хорошо, особенно если живёшь в той стране, где есть деление на национальности, и их для чего-то записывают в школьный журнал. По-видимому, для страны в целом, как, впрочем, и для каждого человека с кирпичом в частности, знание того, кто есть кто, было настолько важным, что вместо того, чтобы попросту выжечь у каждого на руке номерок, или, как это делалось в «правильных» странах, нашить звезду жёлтую на рукав, нам это клеймо проставляли в паспорте. Кто-то, конечно, может возразить и сказать, что я передёргиваю. Мол, это не только евреям писали, что они евреи. Святая правда. Всем писали, но... разное.

Если «русский», «украинец» или «белорус» не значило ничего при приёме на работу или в вуз, то, например, «узбек» или «таджик» было, как правило, большим плюсом. На это всё были специальные разнарядки, согласно которым национальные кадры очень даже приветствовались в нашей многонациональной кастрюле, невзирая на подготовку. Но еврей — это было нехорошо, и даже иногда вообще плохо. Кто-то там, наверху, наверное, знал, почему. А вот внизу, где вся эта низость и исполнялась, наверняка даже и не знали, в чём проблема-то с евреями. Но если сказали бить,

да ещё и указали кого — так какие ж тут вопросы? У матросов нет вопросов... надо бить — и будем бить. Страна была — Советов. Совет дали — лупи, здоровее будешь. Да и нервишки подлечишь таким вот необычным способом.

До того как я уехал из этой страны навсегда, мне ещё много раз предстояло, прямо или косвенно (прямо — это когда говорили или били в лицо, а косвенно — когда не говорили, но действовали соответственно), со своим «еврейством» столкнуться. Но этот инцидент был первым, и потому мне очень хорошо запомнился. Тогда меня просто увезла скорая, так как я лежал в небольшой луже крови, которая натекла из носа. Вскоре нос зажил, и я вернулся в школу. Там, естественно, был страшный скандал, так как она претендовала на звание самой лучшей школы района по всем показателям, а тут — эта история. Шум был серьёзный. Во всех классах шли собрания, на которых этот инцидент обсуждался и по-коммунистически/комсомольски/пионерски/октябратски осуждался.

Юный бандит, видимо, сам не ожидал, что маленький кирпич в сочетании с маленьким евреем произведут лужу крови и такой большой фурор, или, может быть, посчитал, что с меня хватит, но больше инцидентов подобного рода ни со мной, ни с кем-то другим в школе не происходило. Думаю,

что он перешёл тренироваться в соседнюю школу, как только новые кирпичи подвезли и список тех, кому предстояло с ними повстречаться, был составлен.

Меня, конечно, пытали все: и учителя, и завуч, и директор, и родители, но я струсил, и кто это был, не сказал. Думаю, что поступил правильно, возможно, трусость и спасла тогда мне жизнь. Его бы за такой поступок точно из школы выгнали, и он потом, уже окончательно заматерев, мог бы запросто вспомнить обо мне, коротая вечера за литрухой водяры в группе таких же хороших ребят с добрыми лицами. И мог бы, без всяких кирпичей и других юношеских глупостей, просто подкараулить меня где-то вечерком и «рассчитаться за базар», на этот раз уже доведя задуманное до конца, ножом или чем-то другим, хотя мог и не вспомнить. Но провидение моё, видимо, в тот раз решило не рисковать, а я тогда ещё спорить с ним не научился, это ко мне пришло уже попозже.

С самого детства провидение, или можно назвать его ангелом, хранящим каждого, всё время находится рядом с нами и нас оберегает. Делает он, она или оно это очень просто, и самое удивительное, что мы все об этом знаем. Вспомните «внутренний голос», или «мне в голову пришла мысль» (а ушла она откуда?), или «у меня на эту тему было плохое предчувствие».

В детстве мы с этим всё время сталкивались, но благодаря родителям, школе и усиленно впихиваемым в голову атеистическим взглядам на мир (так как пощупать руками или увидеть ЭТО было невозможно), мы постепенно поняли, что этого не было, так как быть не могло. Как будто можно было пощупать солнце или, например, звёзды...

Нас ругали за то, что мы писали левой рукой, и переучивали на правую. Убеждали не верить предчувствиям, снам, предсказаниям, гаданиям на картах и многому другому, необъяснимому и посему — вредному. Как будто не существовали Ванга, Мессинг и другие, непонятные, но от этого не менее гениальные ребята, всей жизнью своей доказавшие, что вокруг нас есть намного больше, чем нам разрешают видеть. Кстати, и «сильные мира сего» услугами этих «шарлатанов», как потом выяснилось, всю пользовались. Но это было для избранных, а нам сказали — нельзя, значит, нельзя. Было там у древних что-то про Юпитера и быка на эту тему... (чего-то там одному было можно, а другому — как раз-таки нельзя!).

В общем, коллективно из нас всяческую «дурь и веру в чудеса» выбили. Но! Ангелы-хранители-то никуда от нас не убежали. Они с нами всегда, везде, здесь и сейчас, пытаются нам подсказывать, что делать, а чего не делать, с кем быть, а с кем —

лучше не надо, но мы к ним никогда не прислушиваемся, хотя... может быть... очень редко... а зря.

Каждое лето мы ездили в Евпаторию. Там жили родители папы, которые были врачами. Бывать там я любил, а ехать туда — не любил. Звучит странно, поэтому требует объяснения.

Меня с детства укачивает, причём везде и очень сильно (в троллейбусе, такси, самолёте и пароходе, и многих других движущихся объектах). И здесь — снова ирония судьбы, особенно если учесть, что я обожаю ловить рыбу. А рыба, как вы помните, водится в океане, ну, в крайнем случае, в море (про реки и озёра мы не будем; рыбалку и рыбу эту я не люблю). Настоящая большая рыба требует выхода в море-океан на лодке-корабле-паруснике-шхуне-барже-плотике-на дувном матрасе... то есть на всём том, на чём я, по причине жуткой укачиваемости, выйти в море не могу. Вернее, выйти могу, и даже несколько раз это делал, но, во-первых, никакой рыбалки не получается, так как я, невзирая на самые передовые лекарства, масла и примочки, всё равно, если и не сразу, то вскоре ложусь на палубу корабля и тихо умираю там на общих основаниях, считая минуты, мечтая о суше и забыв о рыбалке. И уже потом, на берегу, я ещё несколько дней маюсь, приходя в себя

после очередного «эксперимента». Поняв, что ещё «не выздоровел», я лет на пять забываю о море... а потом пытаюсь опять, благо, какие-то новые средства изобретают всё время, и я всегда их с одинаковым успехом пробую на себе...

Ирония ещё и в том, что на земле живут миллионы людей, которых нигде не укачивает, но им это и не важно, так как они не любят ловить рыбу и им не надо ходить в море. А я люблю и мне надо...

Итак, ехали мы в Евпаторию на корабле. И все два или три дня дороги я обычным мёртвым грузом лежал в койке и к моменту торжественного прибытия к любимым бабушке и дедушке имел ещё тот видос.

К берегу корабль не подходил, видимо, там было слишком мелко (или чтобы меня ещё немного помучить). Он останавливался в нескольких километрах от порта, и нас переправляли на берег маленьким катером. Катер болтало так, что качка на корабле казалась раем. Но если быть до конца честным, то мне было уже всё равно, как любому свежему трупу. Меня несли на руках в бессознательном состоянии и выносили на берег, как раненного в бою солдата, со скорбными лицами, говорящими что-то типа «извините, братишки, не уберегли паренька. Ну вот, забирайте, что осталось...». Там ко мне с воплями и

причитаниями бросались бабушка и дедушка, называя кого-то извергами и мучителями ребёнка. Я эту часть всегда плохо помнил. Всё было как в пьяном тумане. Потом меня везли домой в машине, где меня качало опять, и отпаивали каким-то специальным чаем. Ещё в течение двух дней пол, кровать и я в ней качались, как в море. Затем наступал полный штиль. И качка прекращалась. Я приходил в себя, и жизнь продолжалась до момента отъезда.

В Евпатории со мной тоже происходило много всяческих приключений. Например, я там познакомился с Машей и Дашей, которые жили в специальном санатории для больных полиомиелитом. Их вообще-то было две сестры, но они как-то неправильно родились и сформировались: у них сверху было две головы, два туловища до талии, а ниже был один человек. У каждой из них было по две руки, но на двоих всего две ноги. Точнее, сзади была какая-то неправильно и не там выросшая третья нога, но её потом отрезали. Мне было с ними ужасно интересно, они были очень разные, хотя, казалось бы, у них была одна общая кровеносная система, одна печень, почки. Но, видимо, это всё равно были два разных человека, ведь у них было два сердца... Что-то нехорошее с ними случилось уже много позже, когда они жили в Москве. Но подробностей я не

помню.

Зато хорошо помню, что у меня как-то ночью сильно заболел живот, и я, видимо, начал стонать во сне. Примчалась бабушка. Хотя и врач, но она не смогла определить, что со мной, и вызвала сына. Сын её — мой дядя и папин старший брат — работал хирургом в местной больнице. Приехав, он задал несколько вопросов, ткнул больно пальцем мне в живот, и категорическим голосом сказал: «Немедленно на стол!». Мне тогда уже было шесть лет, но смысла я не понял. А бабушка, видимо, поняла и так же категорично ответила: «Ни за что!». Дебаты продолжались минут двадцать, и медицина победила.

Вызвали скорую, и меня увезли в больницу вместе с мамой, папой, бабушкой, дедушкой и сестричкой Лорой (двоюродной). Дебаты же продолжались всю дорогу. Решался главный вопрос — кто кого будет резать. Я был в полусознании от боли и бессонной ночи и в беседе не участвовал, не предполагая даже, что речь идёт о ком-то, кого я знаю. Дядя Вова резать отказался, а бабушка говорила, что никому не позволит резать, кроме как своему сыну. Но сын был неприступен, как скала, и сказал, что он родственников не режет. Я до последнего момента считал, что они все говорят о чём-то, ко мне не имеющем никакого отношения. Ну и, конечно, слово «резать» уж никак не могло

означать «резать меня». Но когда я, вдруг вынырнув из полуобморока, понял, что «резать» всё-таки относится ко мне, то, говорят, закатил такую истерику, что сбежался весь медицинский персонал, чтобы познакомиться с племянником ведущего, как оказалось, хирурга. От моего ора все приборы, подающие кислород, меряющие давление и другие важные параметры больных организмов, прекратили работать. Свет во всех операционных замигал, и народ из тех, кто не был под наркозом, замер, предчувствуя беду. Беда выла долго, а потом, не переставая всхлипывать, затихла в ожидании неминуемого.

Операцию аппендицита я помню хорошо. Дядя Вова стоял за моей головой и вслух читал мне «Пионерскую правду». А оперировал меня другой хирург, который был ещё лучше самого лучшего, так, по крайней мере, мне объяснили. Хорошо помню, как во время операции я спросил, может ли аппендицит вырасти опять, и ответ дяди Вовы, что «скорей всего, нет, но даже если да, то не скоро». Почему-то меня именно это ужасно расстроило, и я проплакал всю операцию. (Наверное, делали под местным наркозом, хотя, может быть, это всё мне и приснилось).

А ещё как-то, лазая в поисках старого самоката, я в сарае сел на гвоздь, торчащий из доски, и примчался в дом с жутким воплем,

распугав по дороге всех кошек и собак. Когда бабушка выскочила из дома, то увидела меня, орущего, и большую двухметровую доску, которая была прикреплена к моему заду большим ржавым гвоздём. Делаю маленькую паузу в рассказе, давая возможность всем эту картинку живописную себе в уме нарисовать. Для плохих рисовальщиков поясняю: я сел на доску, из которой торчал гвоздь, но я его не сразу заметил, хотя почти сразу почувствовал. Вынуть себя из доски я не смог, и потому бежал домой метров пятьсот, волоча доску за собой, чего от боли, видимо, как-то не ощутил.

Процедура снятия меня с гвоздя заняла длительное время, большую часть которого меня убеждали в том, что это будет не больно и быстро (дважды соврали). Вообще-то я думаю, что был в шоке, так как мог говорить и бегать с огромным гвоздём в заду, что для людей нетипично. Но меня в конце концов изловили, зажали и вынули из доски, или гвоздь с доской из меня — не помню точно, но, в общем, нас троих разлучили. Вопить я начал задолго до начала процедуры и не переставал ещё какое-то время после её завершения, да и перестал-то лишь потому, что охрип, но всё равно мычал и всхлипывал, так как сильно болело. В какой-то момент мне показалось, что боль прекратилась или, по крайней мере, утихла. И тут, для усиления впечатления, улучив момент, когда я

расслабился, мне вкатили укол от столбняка. Голос мгновенно прорезался, и я ещё минут десять-пятнадцать разрывал тишину, разгонял тучи и любопытных соседей, после чего заснул мертвецки, наверное, от обиды и унижения. С тех пор я очень не люблю пыльные подвалы, самокаты, доски, гвозди и уколы от столбняка.

Всю жизнь мы за собой таскаем мешок с «памятными призами», приобретёнными в детстве. Там и обиды, и побои, и слёзы, и унижения, и любви, и ненависти, и развенчанные иллюзии, и ещё много-много другого. Хорошо это или плохо — не скажу, но уверен, что в тот день, когда человек может освободиться от этого постылого груза, он обретает свободу. И ещё думаю, что до этого светлого момента доживают немногие.

А ещё меня папа учил кататься на велосипеде. Я ехал, а он бежал сзади и поддерживал велосипед за сиденье. Всё было ужасно весело до тех пор, пока я однажды не обернулся. Каково же было моё изумление, когда я увидел папу, стоящего далеко позади.

«Значит, я всё это время ехал сам!» — гордо пронзила меня мысль, и сразу же вслед за ней меня пронзила боль, так как я потерял уверенность в себе, затем — равновесие, вслед за ним — управление, и, слетев с велосипеда, пребольно стукнулся коленом об камень. Камень был очень

большой, с острыми краями. На всей дороге он был один. Лежал такой грустный, одинокий, и ждал меня. Ждал, видимо, много лет, пока я не подрос, приехал и начал учиться кататься. Ну, и дождался (помните: если долго мучиться — кто-нибудь получится). Я напрочь снёс себе коленную чашечку. Она как бы отвалилась от колена, но при этом как-то непонятно висела на кусочке кожи.

Папа нёс меня домой в одной руке, а велосипед — в другой. Я уже даже не помню подробностей, возможно, в какой-то момент я просто отключился. Вернувшись в сознание, я обнаружил себя лежащим на кровати, в центре консилиума, состоящего из мамы, папы, бабушки и дедушки. Они решали судьбу моего колена, к этому времени уже забинтованного. Мама ругала папу за то, что он отпустил велосипед. Бабушка ругала дедушку за то, что он купил велосипед. Дедушка ругал маму за то, что она мешает мне расти и становиться мужчиной. Папа решал, кого бы ему и за что выругать, но вдруг всё стихло, и в комнату неожиданно вошёл только освободившийся после дежурства дядя Вова-хирург, который решительно направился к моему колену. Оно уже как будто болело чуть меньше, и казалось, что счастье было так возможно, так близко. Но длилось оно недолго, потому что для осмотра колена его нужно было разбинтовать, то есть снять повязку, а она... уже...

прилипла...

Услышав мой рёв, отдыхающему после сытного ленча Конан Дойлю в голову сразу пришла бы идея написания «Собаки Баскервилей», но поверьте мне — ни одна собака Баскервилей не смогла бы издать подобный вой, да я и сам его с тех пор больше никогда не слышал.

Ещё помню, как моя сестрица Лора и её подружка (обе старше меня лет на пять) пошли кататься на качелях и взяли меня с собой. Я их предупредил, что меня на корабле укачивает. Но они были старше меня и потому — умнее. И обе в один голос заявили, что, во-первых, я тютя-матютя, а во-вторых, это никакой не корабль, а обыкновенная раскачивающаяся маленькая лодочка-качель на цепях. Поэтому первые секунд сорок пять мне даже нравилось, но потом как-то стало нравиться всё меньше и меньше, и постепенно стало очень плохо. Я плакал и просил остановиться. А они, хотя и были добрыми девочками внутри, но снаружи понимали, что из меня нужно мужчину воспитывать, а я тут капризничаю, как маленький. Поэтому они не останавливались и, согласно процессу воспитания в спартанском стиле, где неправильно родившегося сбрасывали со скалы, дружно смеялись надо мной. Но вдруг как-то стали тормозить. То ли до них дошло, то ли вид мой на них подействовал. Выйти

из маленькой лодочки в бурном море, смертельно укачавшись, я уже не мог, и они буквально несли меня до дома целый час на руках, говоря при этом всякие разные слова в мой адрес и обещая, что больше никогда и никуда меня с собой не возьмут, особенно в парк кататься на маленькой лодочке, на которой, кстати, совершенно не укачивает. В этот день я с их помощью понял, что нормального мужчины из меня, наверное, уже не получится, а получится только вечно укачиваемый.

А ещё там было море. Совершенно необыкновенное, какое бывает только в детстве. Оно пахло, дышало, говорило, волновало и вселяло какую-то непонятную радость. К нему тянуло, и хотелось быть в нём, в смысле, плавать без лодочки. Может быть, я родился рыбой, но в роддоме что-то перепутали? Может быть, все родились рыбами? Почему дети могут сидеть в море часами? Почему они его не боятся? Почему им не холодно первые пять часов, а взрослые синеют от холода через пятнадцать минут (если вода прохладная)? Почему, слегка обсохнув и согревшись, они, дети, несутся туда снова?...

Может быть, потому, что они чувствуют себя частью Вселенной, частью природы, кем мы все на самом деле и являемся. А потом дети вырастают и становятся частью семьи, общества, рабочего коллектива, секты, группы, футбольной команды,

правительства, профсоюза, и перестают быть самым главным — частью природы, вершиной её творения. И природа расстраивается, болеет и умирает, меняется к худшему, а с ней меняемся и мы, и тоже не всегда к лучшему. Может быть, природа учит нас, а мы просто бестолковые ученики?

Итак — МОРЕ.

Мама уходила на пляж очень рано, думаю, часов в шесть утра, и уносила с собой тонну еды. На пляже она занимала место у самой воды, так она любила. Мы, я и папа, а потом, когда родился брат, то и он, приходили, наверное, в семь и приносили с собой палки и простыню.

Палки вкапывались по углам периметра, создавая остов или скелет сооружения, и к ним привязывалась верёвочками большая белая простыня. Сооружение напоминало тент. Это был маленький островок тени, куда меня стремились засунуть после десяти часов, когда солнце было уже очень жаркое. И ещё мы ели всякую еду... И вкус этих крутых яиц, колбасы, помидоров и хлеба — там, в детстве, — невероятно отличается от всей еды в мире. Это был совершенно незабываемый вкус. Его и сравнить-то даже ни с чем невозможно... Я думаю, что это просто был ВКУС ДЕТСТВА. То есть ассоциации возраста, соединённые с происходящим тогда, намертво

сидят в нас. И потому никто и никогда не может повторить бабушкины пирожки с мясом.

А ещё я помню, как мы ходили на медицинские пляжи. Они были отдельными для мужчин и женщин. Все там плавали и загорали голыми, как, видимо, и положено в медицине. Пляжи были рядом через небольшую загородку, для удобства подглядывания. Я спросил как-то бабушку, зачем здесь люди плавают и загорают голышом. Бабушка, как настоящий медработник, мне объяснила, что у этих людей особая болезнь (пляжи назывались медицинскими, помните?), которая требует, чтобы они как можно дольше находились на солнце без одежды.

Объяснение меня вполне удовлетворяло, тем более что у бабушки был туда пропуск, и мы ходили то на мужской пляж, то на женский, где мне почему-то было интереснее, до сих пор не знаю почему. Лет-то мне тогда было ещё мало, но, видимо, пытливый ум уже задавал вопросы и всё подмечал, подспудно готовя подрастающий организм к взрослой жизни и странствиям. И, естественно, там возникли и вопросы о палке, растущей у некоторых мужчин из живота (видимо, это были мужчины, которые внимательно изучали женщин с соседнего пляжа через перегородку). Ну и бабушка, как настоящий медицинский работник, хотя и рассказывала про палки у одних и их

отсутствие у других, стараясь мой пытливый организм настроить на лирический лад, но он всё как-то не туда сворачивал и лирикой не интересовался, это уже в зрелые годы только пришло.

А ещё там был трамвай. Но и он был необыкновенный. Там, где ходит обыкновенный трамвай, должно быть четыре рельса, и это всем известно. По двум рельсам идёт трамвай в одну сторону, и по двум рельсам — в другую. А здесь было всего два рельса, и я сразу заподозрил неладное, сообщив об этом бабушке. Но она сказала, что здесь полный порядок и что я скоро сам всё увижу. Подошёл трамвай, мы сели и поехали. Ехали минут десять, но встречных трамваев не было (догадайтесь почему). Потом я вдруг увидел, что рельсы делают какой-то странный зигзаг. Точнее, главные рельсы продолжались прямо, но, кроме этого, ещё два рельса уходили в сторону, делая петлю. Мы поехали по тем, которые в сторону, и зачем-то остановились. Стояли минут пять, я думаю. Потом впереди я увидел встречный трамвай, который вскоре проехал мимо нас, стоящих в стороне в петле. Они погудели друг другу и разъехались. Мы въехали на основные рельсы и поехали дальше. И так было несколько раз.

Какая странная система, думаю я сейчас. А

почему нельзя было уложить четыре рельса вместо двух, чтобы не надо было друг друга ждать? Хотя, может, это был какой-то ритуал? Много в детстве было странного, хотя и сейчас его, пожалуй, не меньше. Но только тогда я это всё подмечал, всем очень живо интересовался и задавал всем вопросы. А сейчас меня уже не всё интересует, и вопросы задавать особо-то и некому, хотя иногда так хочется!

Вскоре так получилось, что мы перестали летом ездить в Евпаторию, но в памяти она навсегда осталась как тёплый, чистый и радостный островок детства, куда никому, кроме меня, хода нет.

Я думаю, что независимо от возраста каждый из нас выбирает какой-то период в своей жизни, и назначает его своим «островком». Это может быть какой-то год, или день, или встреча с кем-то. Мы прячемся туда каждый раз, когда нам плохо, одиноко, больно и страшно. Бывает грустно, что мы можем туда отправляться только в памяти и всегда в одиночку, но это всё же лучше, чем ничего. Географическое местоположение этого островка с годами не меняется. Меняется количество фактов, которые память в состоянии удержать. Меняются акценты. Тот, кто казался подлецом, вдруг предстаёт героем, и наоборот. Процесс осмысления того, что с нами было, никогда не заканчивается. Со

временем подробности заволакивает туманом, но ощущение того, что там было что-то волшебное, остаётся с нами навсегда.

Одновременно с обыкновенной школой меня определили в школу музыкальную, которая гордо называлась «Школа номер два».

Сначала была обыкновенная маленькая скрипка. Но я рос, и инструменты росли вместе со мной. Хотя, если быть скрупулёзно точным, переход к следующему инструменту был определён фактом кражи моей (видимо, ценной) скрипки прямо из стойла (читай — музыкальной школы) из-под носа всех учителей и учеников. Никто ничего не видел, и помочь следствию не мог.

А тут как раз и подвернулся по случаю следующий инструмент для меня. Им стал альт. Это мог быть любой другой инструмент, даже туба. Но подвернулся бесплатно именно альт. Он чуть больше скрипки, но не это было основополагающим фактором присоединения меня к нему. Главным было то, что он достался бесплатно. Вот и всё. Так я стал альтистом, хотя ненадолго. В один прекрасный день папа, прийдя домой, принёс виолончель (ещё больше, чем альт) и сказал что-то вроде, раз я расту (а я действительно почему-то рос), то нет смысла засиживаться на одном и том же, и надо, чтобы был рост и в

инструментах. Ещё он сказал, что виолончель, так же, как и скрипка, — главные инструменты (я не понял, а зачем мне тогда альт-то подсунули?), а альт — это инструмент второй категории (до сих пор не знаю, что это значит). Так я стал виолончелистом.

В контрабасисты (ещё больше, чем виолончель) я попал случайно, так как набор в класс виолончелистов в школе имени профессора Петра Соломоновича Столярского уже был закончен, когда меня туда почему-то решили определить, а контрабасисты были почему-то очень в цене. Не знаю, считался ли контрабас главным инструментом или второстепенным, но в школу для особо музыкально одарённых детей меня приняли. Сразу, забегая вперёд, скажу, что на контрабасе рост моих инструментов окончился, так как ничего большего, чем контрабас, в те годы даже на знаменитом одесском толчке не было (хотя говорили, что ТАМ — ЕСТЬ — ВСЁ!).

Первым моим учителем был папа. Но учиться мне не хотелось; мне хотелось читать книги, играть в футбол и есть сладкое. Поэтому меня заставляли. И папа, и мама, и бабушка. Хотя действовали они по-разному. У папы была лёгкая разговорная манера. У мамы была тяжёлая... рука. А бабушка пекла вкусные коржики, если я занимался. Работали на контрасте, чередуя кнут с коржиком. Коржики я

очень любил, а заниматься — нет, но так как «сила соломѹ ломит», то солома (то есть я) со временем втянулась.

Но уже в раннем детстве я проявлял характер и бился как лев. Я ломал виолончель и смычок. Я специально рвал женщинам колготки и чулки в трамвае по дороге на урок, незаметно тыкая в них шпилем (острый как гвоздь наконечник, которым виолончель упирается в пол). В случае успеха разгорался трамвайный скандал, и я, весь в слезах и в растрѣпанных чувствах, уже, естественно, не мог играть, и мы возвращались домой несолоно... так и не доехав до урока. Уже тогда во мне проявлялся талант выдумщика, который с годами развился в умение не теряться в сложных, иногда, казалось бы, безвыходных ситуациях. А качество это совершенно необходимое, и жаль, что не у всех оно есть.

Невзирая на мои слѣзы, ломание виолончели и красное горло (после насыпанного в него перца), а также в результате непроходящего предынфарктного состояния мамы, бабушки и учительницы музыки, коллективно пытавшихся сделать из меня лауреата, музыкальную школу я всё-таки окончил. Казалось, можно бы и оставить меня в покое. Но не тут-то было. По-видимому, не весь имеющийся у меня талант удалось скрыть.

Когда я уже был в третьем классе, так

получилось, что папа переехал в другой город со своей новой семьёй, и я в десять лет вдруг неожиданно стал старшим мужчиной в семье. Брату было пять, мама не могла найти работу, невзирая на все три высших образования (хорошо помню, что у неё было три ромбика), а бабушка получала двадцать девять рублей пенсии за дедушку. Как мы жили тогда, я не очень помню, думаю, что папа присылал какие-то деньги. А потом мама нашла работу, рублей на пятьдесят (на полставки), и стало на пятьдесят рублей веселее... хотя веселее — не стало.

Года два я думал и, решив, что созрел, в двенадцать лет пошёл на работу, что было противозаконно. Работал я групповодом в конторе с красивым названием «Спутник», которая относилась к обкому комсомола. Платили мне очень мало, так как я был ещё малолетка (точнее, платили маме, чтобы не нарушать закона, но в целях экономии определили ставку пигмея, в смысле очень маленькую). В мои обязанности входило встречать группы туристов и сопровождать их по городу — от ресторана к автобусу, от гостиницы к месту питания и т. д.

Когда я вошел в доверие, меня назначили старшим групповодом, и я стал обладателем талонов на питание, которые выдавались на каждую группу в соответствии с количеством дней, людей и

типом путёвки. В среднем на питание выделялось около двух рублей в день на человека. Очень скоро я сообразил, что в этом скрыт бизнес. Я кормил людей на рубль пятьдесят в день (причём никто не жаловался и не оставался голодным), а оставшиеся пятьдесят копеек на человека в день, умноженные на дни и людей, делил пополам с кассиршами ресторанов, где питал народ. Это был мой первый бизнес с доходом.

К сожалению, группы я водил редко и только летом, когда не учился. Поэтому при потенциально приличном доходе Корейко из меня не получилось.

Понимая, что надо искать пути совершенствования источников доходов, я придумал фотографировать туристов в известных местах (возле Оперного театра, Потёмкинской лестницы и т. д.). Фотографировать я, в общем-то, не умел, но это было не важно. Если надо — мы всему научимся.

Проблем в этом новом бизнесе было несколько. Первое: фотографы, годами насиживавшие эти хлебные места и передавая их, как семейную реликвию, от отца к сыну, делиться ни с кем не хотели. И, конечно, двенадцатилетнего пацана с фотоаппаратом гоняли. Но нас голыми руками не возьмёшь. Я проводил с группами разъяснительную работу и предупреждал их, чтобы ни у кого из этих жуликов не фотографировались,

так как те деньги возьмут, а снимки не принесут. Я говорил, что сам всё сделаю и принесу им фотографии. Если они им понравятся — то тогда они платят. А если нет — то нет. Так как я был уже «свой», то мне, естественно, доверяли. Всем идея нравилась. И я, когда мы выходили из автобуса и фотографы бросались к группе, говорил: «Спасибо, у нас свой фотограф в группе, он и снимет». Всё было бы неплохо, но меня стали узнавать (фотографы), и пришлось маскироваться — то шляпу надевать, то очки, то длинный плащ. Приходилось крутиться. Слава Богу, мест для съёмки было достаточно, как, впрочем, и групп, и я мог как-то более или менее спокойно работать. Плёнку я отдавал профессионалам, и они возвращали мне фотографии. Но цены на их работу росли, а мне приходилось туристам давать заниженную цену в сравнении с фотографами в каждом «злачном» месте, чтобы всем фотографирующимся прямая выгода работать со мной была очевидна. Работы было много, нервотрёпки — невпроворот, а дохода мало.

И тогда я решил сам плёнку проявлять, сам фотографии печатать и глянцевать.

Сразу должен сказать, что процесс этот трудоёмкий и требующий времени, знаний и усидчивости. Ни одним из трёх составляющих я, к сожалению, не располагал. Но я был старшим

мужчиной в семье, и мне следовало зарабатывать деньги. Другого выхода не было. Я купил все необходимые инструменты и ингредиенты и засел в ванной комнате в темноте, при свете красной лампы, на ходу учась проявлять, закреплять, печатать и глянцевать.

А квартира у нас как раз была коммунальная. И как только я садился за работу, сразу всем соседям (человек двадцать там всего проживало) срочно нужно было в ванну. Я запирался, кричал, плакал, ругался, но они рвались в ванну всё равно. Некоторые, просто чтобы меня выкурить оттуда, подло включали свет (он включался снаружи), а это — мгновенная смерть всем, ещё не готовым фотографиям и не проявленным плёнкам.

С этими я справился в первую очередь. Позвал друга со двора, старшего и очень башковитого на предмет какую-нибудь редкостную пакость сделать руками, товарища Гену, и он, поработав с электричеством, за рубль научил меня, как надо, заходя в ванну, забирать с собой крышечку выключателя, и если кто пытался включить свет — вставлял палец в голые провода. Кричал, ударенный током, и, неудовлетворённый результатом, уходил, говоря разные слова типа «выродок», «исчадие ада», «юный бандит», «сволочь мелкая» и т. д. Им, соседям, — урок (нас, капиталистов, не тронь!), мне, юному

бизнесмену, — развлечение, Гене — рубль за изобретательность, а делу — польза.

Они придумывали новые козни: отключали воду, стучали в дверь, просто занимали ванну часами, чтобы я не мог туда попасть. Война тянулась долго и мучительно, и я был один против всех. Борьба с соседями отнимала у меня много сил, и я начал... им давать по рублю, чтобы мне не мешали работать. Многие брали, а тем, кто не брал, я сам начал пристраивать разные гадости, по совету того же Гены (каждый совет стоил один рубль). То воду горячую отключал, когда они мылись. То иголки обламывал в английском замке, и им приходилось двери топором вырубать. То чего-нибудь несъедобного брошу кому-то в суп. Или, например, включу газовую конфорку, на которой стоит сковородка с уже пожаренными котлетами. Пока унюхаешь — они уже подгорели. Я авторство, естественно, не признавал, но ребята — не дураки, постепенно и сами всё поняли, сложили два и два, и мешать мне перестали. Так, без борьбы и лишений, мой нелегальный бизнес продолжался. Фотографии из-за отсутствия опыта, времени и хорошего профессионального оборудования получались плохие, и их частенько не брали. Я терпел убытки, так как покупал все химикаты, бумагу и плёнку на свои собственные средства. Пришлось снова решать задачу. Решение

пришло случайно, когда я однажды чуть не опоздал к поезду, к отходу которого должен был принести фотографии. Когда я, мокрый и полумёртвый от бега и волнения, прибежал, до отхода оставалось минут пятнадцать. Фотографии начали разбирать, рассматривать, деньги собирать, считать и так далее. Всё не успели, но большая часть была продана, и меня осенило.

Начиная с этого дня, я говорил руководителю группы за день до отъезда, сколько они должны собрать денег за ВСЕ снимки. Я приходил за пять минут до отхода поезда, вручал руководителю пачку фотографий. Сверху всегда лежали самые лучшие десять — пятнадцать. Я их показывал, брал деньги, вкладывал ВСЕ фотографии в большой красивый конверт и говорил: «У вас в дороге будет масса времени, вот и будете с фотографиями разбираться», — и поезд уходил.

Таким вот образом мы и учились выживать в обществе развитого социализма за железным занавесом, как звери в большой клетке с мнимым ощущением свободы, равенства, братства, Коминтерна и Че Гевары Мао-Цзедуновича. Я, наверное, нарушал целую серию статей Уголовного кодекса, о чём, естественно, тогда и не думал. Там были, наверное, и шантаж, и подкуп и спекуляция, и незаконный бизнес (всеми этими способами ведения дел имела право пользоваться только

определённая группа товарищей по недружественной Компартии, что и делала с большим успехом). Время шло, я рос, но легче не становилось.

Ну и, конечно, возраст давал о себе знать, сами понимаете, что у шестнадцатилетнего подростка в голове (и вообще везде), когда по телевизору регулярно никакой тебе порнухи, и даже занюханный и запятнанный журнал «Плейбой» достать безумно сложно. Все, конечно, как-то устраивались. Одни, которые победнее, ходили подсматривать в женскую баню, а другим — побогаче и попартийней — девушек привозили домой из разных городов и деревень, прямо как шахам или, на худой конец, султанам разным для пополнения гаремов. Ну и совсем полегчало, когда нам объявили, что, слава Богу, секса в Советском Союзе нет и никогда вообще не было, как, впрочем, и Бога. Потом ещё собирались объяснить, откуда при отсутствии секса появлялись дети, и если нет Бога, то почему все говорят «слава Богу» или «Боже мой!». Но пока думали, как подходчивей преподнести, да чтобы при этом ещё не опорочить партию, правительство и лично дорогого и горячо любимого товарища Генерального, страна взяла и развалилась...

И вот мы теперь расползлись по всему миру, и живём кто где, кто как и кто с кем, так толком в

этом феномене и не разобравшись. Что-то там было про аистов, крышу и капусту. Но я вчера смотрел в зеркало: ни на одного из трёх я не похож. Значит, видимо, были и другие варианты, которые от нас опять же скрыли.

В обыкновенной школе, в которой я учился, в одном со мной классе училась девочка Ира. У меня с ней в восьмом классе случился роман. То есть это я его так называю, а тогда это было сплошное мучение, продолжающееся по шесть часов в день, когда её приходилось видеть, но сказать ей об этом было никак невозможно. А чувства ведь переполняли, и я, пытаясь хоть как-то донести до неё всю их глубину, прокрался в девичью раздевалку перед уроком физкультуры, спрятался за вешалку, и, улучив момент, когда она переодевалась в спортивную форму, выскочил из своего укрытия и вбросил ей в трусы живого таракана, специально для этой цели выловленного дома и принесённого в школу в спичечной коробочке.

Раздался вопль, каких не слышала земля! Орала все девочки, а громче всех вопила моя пассия. Но вместо слов любви или хотя бы какого-никакого уважения, она взрывала мир словом: «ТА-РА-КАН!!!». И показывала пальцем туда, где он, собственно, и находился. Засунуть

руку в трусы при всех не позволяло её воспитание или страх. Снять трусы при всех, дать несчастному насекомому вдохнуть свежего воздуха и убежать к себе домой — тоже было в восьмом классе как-то невозможно, и она стояла посреди раздевалки и орала нечеловеческим ором, пока не примчался учитель физкультуры, который был ОН и потому в девичью раздевалку особо не заходил. Но тут полуголые девчонки, позабыв про стыд, на него почти что не отреагировали и бойко сообщили о случившемся. Он как бы рванулся в трусы, но, видимо, успев одуматься, решил не рисковать, и рванулся из трусов, то есть из раздевалки, на поиск медсестры. Пока он её разыскал, девочка уже окончательно охрипла и говорить не могла. Поэтому получила ли она хоть какое-то удовольствие от доставания медсестрой полузадохнувшегося и окончательно оглохшего от воплей таракана, так никто и не узнал. Но что самое удивительное во всей этой истории — по совершенно непонятной мне до сегодняшнего дня причине ни одна девочка, включая Иру в трусах и уже без таракана, не смогла толком объяснить, как он, таракан, туда попал. То есть, по-видимому, я всё сделал настолько быстро, что не был замечен, и это меня спасло. Выгнали бы из школы как пить дать. Вместе с тараканом.

Я долго терпел, лет так тридцать, но всё же

потом ей, уже маме троих детей, при встрече здесь, в Америке, в преступлении и сопутствующей ему безответной любви всё-таки признался. Это вызвало в ней противоречивые чувства: смех, страх от воспоминаний того эпизода и грусть, так как оказалось, что и она тогда была влюблена. В меня. А я не знал. И сунул ей в трусы таракана. Дурак. Я!.. Не таракан... он вообще ни в чём не виноват. Жил себе в семье, а его схватили — и в инородную среду вбросили. Наверное, случился тогда у бедняги нервный срыв. Интересно было бы послушать, что он там потом своим домочадцам рассказывал про то, где был и что видел...

Я окончил восемь классов средней школы и семь классов музыкальной по классу виолончели одновременно. Моё дальнейшее образование продолжилось в известной на весь Советский Союз школе для одарённых детей им. Столярского. В своё время её окончили великие музыканты: Давид Ойстрах, Евгений Могилевский, Роза Файн, Елизавета Гилельс, Буся Гольдштейн, Михаил Фихтенгольц и другие. Там я научился играть на контрабасе и разучился играть на виолончели, не говоря уже о скрипке и альте. На последних двух я разучился играть ещё раньше.

О годах, проведённых в школе, нужно немного рассказать, хотя рассказывать можно много.

Школа собирала одарённых детей и пыталась растить замену уже известным на всю страну и даже кое-где за рубежом исполнителям. Естественно, что звёздами становились не все, хотя мне кажется, что классу к седьмому уже было понятно, кто кем станет, точнее, кто кем не станет. Но чтобы народ не пугать и зарплату получать (где столько гениев-то найти?), хотя и ясно было, что многие — не потянут, никого не выгоняли, и все доучивались до последнего звонка, невзирая на то, что талант, из-за которого, собственно, в эту школу и отбирали, у многих как-то растворился. Пётр Ильич Чайковский ещё говорил, что плюс к таланту надо отрастить огромный зад для усидчивости, иначе успеха не видать, как своих ушей без зеркала. Но удавалось это единицам, хотя задов отросших было больше. Особый упор в школьном расписании, естественно, был на музыку, а всякие там глупости типа алгебры или там природоведения и анатомии хотя и преподавались, но так, что все, и учителя, и ученики, понимали: из нас растят музыкантов, а не математиков и даже не природоведов, и уж, конечно, не патологических анатомов. Будни, в общем-то, были серые — учёба, учёба и ещё раз учёба, — и то, что деда Ленин делал то же самое втайне от Надюши Крупской на чердаке, уже как-то никого не радовало и не вдохновляло.

Мы, естественно, пытались сами себя развлечь любыми способами. Я жил в интернате для иногородних. Он примыкал к зданию школы, и путешествие от и до занимало две минуты. Это было быстро и удобно. Плюс к тому, что мы там жили, нас там ещё и кормили. Но, правда, интернат был, как я уже говорил, для иногородних. А поскольку я иногородним не был, но поселиться в интернате очень хотелось (вскоре поймёте, почему), мама чего-то там должна была подкрутить или уплатить, чтобы я вдруг стал иногородним. Что она и сделала, так как я её занудил...

А в интернате вместе с мальчиками жили и девочки. И это очень важно, так как мальчикам в этом возрасте без девочек как-то скучно, невзирая на музыку.

Но за нашей общей девственностью бдительно следили: днём учителя и воспитатели, а ночью — так называемые «ночные няни». Они, как змеи, ползали везде и шипели, брызгая при этом отравленной слюной и отрывая нас от предметов воздыхания. Поэтому, опять же, приходилось изгаляться, чтобы до предмета добраться (предмет ещё всегда выпендривался, ну, в смысле, набивал цену), и в руки цепкие нянь ночных не попасться.

Комнаты, как и положено в такой нравственной стране, как Советский Союз, где не было секса (о чём я уже упоминал раньше), были

расположены на разных этажах для усложнения задачи проникновения в предмет. Поэтому, когда все малолетки укладывались спать и свет был в основном погашен, некоторые особо нетерпеливые и падкие до женского тепла особи мужского пола из старших классов позволяли себе, по возможности тихонечко, без шума и пыли, пробраться на женский этаж и делать там отчаянные попытки склонить его обитательниц к вступлению в законный брак — ну хоть ненадолго, например на час, или даже меньше. Это было нелегко, так как девицы упирались, ссылаясь на невозможность расстаться с девственностью до пенсии, ну или, по крайней мере, до свадьбы. Так мы же и предлагали им жениться тут же, и сразу переходить к прощанию с девственностью. НУ? А они всё равно — ни в какую!

Так мало нам этого перетягивания каната, а с ним ещё штанов и всяких там колгот, в смысле, лифчиков, так тут ещё в самый разгар идеологической борьбы обязательно раз через раз должна была заявиться та самая ночная няня... того ей... туда... и поглубже. И потому приходилось прятаться. Но это читателю, который с нами в интернате не жил, непонятно будет, поэтому поясню.

Прятки — игра старинная, и правило у неё одно, но главное. Один прячется, а другой ищет

спрятавшегося. Причём, в нашем случае она, ночная няня, как ни пыталась подкрасться неслышно, всё же в связи с преклонным возрастом, отражающимся на скорости, и шарканьем ног не могла. Поэтому у прятавшегося всегда была уйма времени для манёвра, секунд тридцать.

Дальше идём. Всё поле боя и пряткок ограничено одной комнатой, в которой и происходила борьба за девственность, площадью метров пятнадцать. Мебель в комнате: две кровати, тумбочки у кроватей, шкаф, ну и какие-то там мелочи, зеркало, столик маленький. Вот, собственно, и всё. Ну и, естественно, зная, что жертва где-то здесь, так как мужской голос был слышен, и никто из комнаты выйти не успел, так как некуда, уж они, няни ночные, старались не на шутку. За каждого пойманного нарушителя порядка социалистического общежития и покушения (потенциального) на незыблемо тонкую девичью честь (до сих пор точно не знаю, где она расположена), им, видимо, давали спецпаёк и премию в размере десяти рублей или ещё что-то особо ценное, так как рыли они землю, точнее, паркет, яростно и по-коммунистически.

— Только же вот здесь был, охальник, и куда же он, подлец, мог подеваться? — кряхтела бабушка-няня.

Перетряхивались простыни, естественно,

заглядывалось под кровати, всё содержимое шкафа летело на пол... и так далее. Но тщетно. Меня, например, ни разу не поймали... Ну, просто не могли бы они додуматься. У меня было два места тайных, очень простых — и не простых. (А может, мне надо было идти в разведку? Там, говорят, ордена дают за умение ловко спрятаться). Я в каждой комнате, где жила потенциальная пассия, сдвигал шкаф, чуть-чуть, так, чтобы он срезал угол, а не стоял вплотную к стене. Но влезть на шкаф и нырнуть в довольно узкую дыру, образовавшуюся в результате срезанного угла, а потом ещё оттуда выбраться было делом непростым, не каждому по силам, и в любом случае, рискованным. Но рвение и наличие под носом предмета воздыхания и всего остального придавало силы и включало соображалку на все сто.

Плюс к тому, я ещё иногда приходил днём и тренировался, отрабатывал нормативы, готовился к реальным событиям: нырял за шкаф, сидел там без звука и дыхания, и потом (что было самое сложное) вылезал оттуда.

Второе место — ещё более невероятное. Когда барышня, после ухода ночной няни, обнаружила меня там в первый раз, она без моего участия чуть было с девственностью не рассталась. Я открывал окно и укладывался во весь рост на подоконнике. Звучит просто и даже скучно? Сейчас

развеселим. Подоконник, шириной сантиметров двадцать пять, был за окном высокого четвёртого этажа!

Повеселело? Ну, вот. Посмотреть в окно четвёртого этажа из светлой комнаты на тёмную улицу можно, конечно же. Но, во-первых, ничего там не видно, а во-вторых, такое даже не могло никогда и никому прийти в голову. Ну, какой ненормальный туда полезет? Даже подумать об этом страшно! На что, собственно, и был расчёт. Тут все знания приобретённые в дело шли: геометрия (треугольный промежуток за шкафом), психология и физиология (не станет разумный человек искать другого разумного человека больших размеров на подоконнике узеньком четвёртого этажа). И не видно ничего из света в темноту. Вот, а кто-то думал, что мы зря это всё учили. Не зря, конечно! Ещё как они нам, эти науки, в жизни пригодились! И сколько раз? Не сосчитать...

И таким вот образом мы коротали ночи между борьбой со страстью юношеской непреодолимой, нежеланием да и неумением вышеуказанных барышень её успокоить известными средствами и вечной опасностью быть пойманными. Кстати, кого ловили, то после первого же раза из интерната выгоняли. Так что на кону было всё, многое то есть. Но, юность безрассудная наша, где ты, ау?! Мы

тогда и тюльпаны рвали с клумбы перед Оперным театром, где милиции полно, и много всякого другого, что делают только в юности и больше никогда. А делалось это в связи с отсутствием мозгов в районе головы и усиленным приливом крови в других районах, раз голове она была не нужна.

А ещё у нас были капустники. Мы, старшеклассники школы Столярского, всегда пытались перещеголять консерваторию, где капустники были самого высшего класса, безумно талантливо придуманные и не менее виртуозно исполненные.

Помню хорошо тот, где на сцене, изображая приёмную комиссию, сидел весь преподавательский состав, все доценты, профессора, заслуженные мэтры и, соответственно, мэтрихи. Одетые строго, как и положено серьёзным спецам, дающим «мастер-класс» молодёжи, сидели они чинно за длинным, через всю сцену, столом, накрытым красной скатертью до самого пола.

И когда капустник как бы уже окончился, два последних участника, уходя со сцены, задёрнули скатерть на стол — и весь зал замер. Все преподаватели сидели... в трусах. То есть сверху было всё очень строго, а снизу, скрытые до поры до времени скатертью, — трусы, у мужчин — красные, синие в горошек, в цветочках, как у волка в «Ну,

погоди!»), а у женщин — трико, рейтузы, мини-трусики всех цветов радуги. Зал обмер... а затем взорвался. Хохот стоял такой, что чуть не упала люстра. И надо отдать должное всем сидящим за столами. Их лица не выражали ничего (вот это были мастера!), как будто бы их там вообще не было, как будто бы не они были причиной истерики в зале. Несколько недель после этого капустника весь город только об этом и говорил. Да, были люди в наше время, и помню, были времена. Пойди сегодня, уговори профессоров показать свои худые или, в лучшем случае, кривые ноги в подштанниках. А женщин пожилого возраста? а молодых? учителей в нижнем белье? на сцене, перед всеми учениками? да ни за какие деньги! (Ну, правда, может быть, только если очень уж за большие).

Пошли дальше. Школу Столярского я всё-таки окончил, хотя точно не был готов пополнить ряды гениальных музыкантов. Ну, в конце концов, все не могут стать гениями, кто-то должен и на работу ходить. Хотя, я думаю, что ими — гениями — даже и не становятся, а ими рождаются. И уже в очень юном возрасте родителям должно быть ясно: кто гений, кто талант, а кто — просто нормальный и, возможно, именно поэтому потенциально счастливый человек. Кстати, мне думается, что природа при всём нашем

неуважительном и невнимательном, а порой вообще наплевательском к ней отношении, пропорцию умных-глупых, бедных-богатых и гениальных-обыкновенных во все времена сохраняет. И даже если порой кажется, что кого-то больше, чем хотелось бы, надо понимать, что население растёт, и с этим растёт количество всех представителей в каждой группе. Плюс — мы же всё время передвигаемся из города в город, из страны в страну. На месте сидеть не можем. Поэтому, хотя пропорция и соблюдается, но нам иногда может показаться, что из четверых в комнате три идиота, или наоборот — три гения. Это может быть правдой, и означать, что следующий появится через пятьдесят миллионов человек, куда бы мы ни поехали.

И ещё вдруг подумалось: наверное, гений не знает, что он гений, а если знает — то он, скорее всего НЕ гений.

Наступил одиннадцатый класс, и вскоре на носу оказались выпускные экзамены, которые плавно перетекали во вступительные в Консерваторию. И тут у меня случился конфуз. Не первый и, как оказалось, не последний.

На экзамене по специальности мне поставили тройку. У кого-то, не знающего расстановку сил, этот факт, пожалуй, никаких особых эмоций и не вызовет. Ну, тройка, скажет он, ну и что? Как — ну

и что? Это то же самое, как получить тройку по высшей математике, оканчивая престижный математический вуз, или получить тройку по вождению самолёта оканчивающему курс по самолётовождению стратегических бомбардировщиков или, ещё пуще, истребителей нового поколения, невидимых, неслышимых и почти что не существующих. Позор и стыд, и чему его там только учили? И, кстати, кто учил? И вообще — подайте-ка нам сюда этого Ляпкина, сейчас мы по нему как тяпнем!

Но в нашей ситуации интрига была покруче замешана, хотя сразу и на поверхности этого было не рассмотреть и не раскусить. А ситуация была следующая. Контрабас, на котором я играл (и, кстати, явно лучше, чем на тройку, минимум на четвёрку), относится к группе струнных инструментов вместе со скрипкой, альтом и виолончелью, на которых, кстати, если ещё кто помнит, я успел в юности себя попробовать. В этой струнной группе обычно в те годы было большинство евреев. Уж такая традиция сложилась: струнники — евреи, духовики — как правило, нет. Хотя среди танцоров, певцов, дирижёров, сапожников, космонавтов и членов партии попадались всякие, и даже некоторые — трезвенники.

А в консерватории, как, впрочем, и в других

вузах, тоже была квота на евреев. Я сам проверял: на русских — не была, на белорусов — не была, на тунгусов — не была, на китайцев — не была, а вот на евреев — была. Это я уже гораздо позже понял, что всё происходило оттого, что где-то там наверху нас очень ценили и пытались «цвет нации» равномерно распределять по всей стране, чтобы никому не было обидно. Оттуда и квоты... от заботы.

Кстати, для тех, кто не знает, квота была везде и на всё: на сбор помидоров и металлолома, на количество концертов для артистов филармонии, на количество спасённых «утопающих» на пляже. Не шучу! Я это точно знаю от того, кто лично работал спасателем. За каждого лишнего спасённого (после выполненной нормы) давали премию. И вот они, ребята-молодцы, сообразили (деньги-то нужны), организовали следующий рабочий подряд: выплывала моторная лодка с сидящими в ней спасателями подальше от берега, где не много плавающих, и водолаз (который выплывал на другой лодке) подплывал под водой к потенциальному утопленнику, и за ноги его тянул вниз... чуть-чуть... Несчастный в ужасе от того, что его какая-то неведомая сила тащит на дно, начинал кричать и при этом тонуть. А славные спасатели, оказавшиеся случайно неподалёку, тут же его спасали. И человек спасён, и премия в

кармане.

Даже на кладбище, хотите — верьте, хотите — нет, и то был план по захоронениям. А за перевыполнение плана и здесь полагалась прогрессивка. Уж как они там на кладбище справлялись с выполнением нормы, точно не знаю, но как-то рассказывали, что позвонили одним людям, они недавно похоронили родственника, и сказали, что его пришлось перезахоронить из-за того, что подземные воды стали подмывать могилу. Но им, мол, ни за что платить не надо, всё уже сделано, и даже лучше, чем раньше. Приехали, посмотрели — точно, место другое, но всё чин чинном, чисто, аккуратно. Поставили памятник.

А через какое-то время им опять позвонили, извинились и сказали, что опять пришлось перезахоронить из-за подземных оползней, но уже порядок, всё сделано, даже памятник перенесён. Приехали, проверили, всё правда: опять другое место, но никаких проблем не наблюдается.

Есть такое подозрение, что они покойников переносили и эти перезахоронения засчитывали как новые могилы — для плана, точнее, для его перевыполнения.

И ещё был план... в морге. За каждого экстра-покойника после выполненного плана по покойникам больница, где морг располагался, получала какие-то бенефиты. То ли им давали

лишних пять километров бинтов, то ли реже присылали тухлую рыбу к завтраку, а может быть, им разрешали реже кипятить шприцы. Хотя я бы не удивился, узнав, что за перевыполнение плана некоторым, в больницу попавшим, разрешали вместо морга — домой вернуться, внепланово выздоровев. Но знаю точно от водителя одной из машин «скорой помощи», что несколько больниц между собой договаривались и возили покойников из одного морга в другой. «Засчитывали» его и везли дальше. А ему-то что — лежи себе да катайся! Бесплатно, опять же! Лишь бы родственники не узнали. Вот в какой мы с вами удивительной стране жили. И многого из того, что в ней происходило, не знали.

Мы, например, не знали, как жили ВОЖДИ. Сейчас только чуть-чуть приоткрывается завеса тайны, и вываливаются в кино и печать все эти истории про их жизнь. Про то, где и как они жили, что ели, как гуляли, каких девочек и мальчиков им возили и для чего. Какие «государственные» задачи они частенько решали и какими методами. Мы узнаём, кого «мочили в сортире», а кого — наоборот, доставали из сортира и отмывали под ордена, за умение вылизать-подставить-настучать-оболгать и многие другие, не менее важные качества, которым в обычной школе не учили, а учили, видимо, в

школах специальных и тоже без шума лишнего, под бой курантов и музыку Чайковского.

Ещё мы не знали про проституцию, особенно детскую, про гомосексуалистов мы тоже не знали, и ещё про многое другое, чего, как нам тогда казалось, в нашем кристальном обществе вообще не было, так как быть не могло.

Это всё было там, на гниющем Западе, куда нас (и меня в первую очередь) не пускали, чтобы бы мы этой проказой случайно не заразились. Но шило в мешках можно таить хотя и долго, но не всегда, даже если шило тупое, а мешок — из плотного военного непробиваемого спецматериала.

Есть хорошая пословица американская (хотя не удивлюсь, узнав, что её испанские хулиганы под предводительством Христофорыча Колумбоса у местных индейцев позаимствовали или под пытками вырвали). Вот её вольный русский перевод: «Можно обманывать всех некоторое время, можно обманывать долго, хотя не всех, но обманывать всех всегда — невозможно».

В конце концов и в результате торговых соглашений глав государств было тайно решено:

1. Мы вам — евреев, а вы нам сделаете вид, что об этом и о том не знаете.

2. Мы вам — ещё евреев, а вы нам — триста тысяч миллионов тонн курятины и покрытие расходов на закапывание отходов производства

ядерных реакторов.

3. Мы вам — ещё больше евреев, а вы прищурились... и вот уже нет у нас отсутствия свободы слова, политических заключённых — нет их, как и не было... и всё тут! А волеизъявлений в любой форме — наоборот, сколько угодно.

И в результате — все опять рады и счастливы... плюс: без евреев.

Таким вот образом, мы о том, чего там на Западе творится, узнали, так как часть страны (кстати, далеко не худшая), в попытке к этому «тлению» и «зловонию» приобщиться, сбежала, ну, то есть на ПМЖ. А я, кстати, один из тех сбежавших. Живу здесь и нюхаю. Поначалу как-то было нелегко, сильно страдали глаза от увиденного, уши — от непонятного языка и душа от понимания того, какой туфтой нас там, в Союзе, десятилетиями кормили, а потом — ничего, оклемался, принялся, притерпелся.

Как гениально сказал Жванецкий: «Не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь!» Я — привык.

Итак, возвращаясь к нашей истории.

Моё положение в момент окончания школы Столярского было лучше, чем у других, но я об этом тогда не знал. В Одесской консерватории (куда я бы и направился) в том самом 1975 году было три контрабасовых места. И даже если бы я

сыграл там на вступительном не очень, то есть если бы упал в обморок посреди исполнения или в сердцах обругал всю комиссию матом, меня бы всё равно приняли. Нужны были контрабасисты в консерваторский оркестр. Я и об этом не знал, но зато хорошо знал товарищ Мордкович, Бенья (точнее, Вениамин Зиновьевич), который был председателем комиссии и в школе, и в консерватории. У него было несколько учеников-скрипачей в школе (в этом злосчастном году, с которого начались все мои мытарства), которым он должен был приготовить место в консерватории, что он и делал. Поэтому, влупив мне тройку (точнее, настояв на том, чтобы мне её поставили, так как все другие члены комиссии хотели мне поставить четыре, в чём через каких-нибудь двадцать пять лет мне же за бутылкой коньяка и признались), он решал сразу несколько задач. Подрезать меня и продвинуть своих. Не будучи уверен, что я понял его намёк, он лично ко мне подошёл после экзамена и сказал: «Ну что ж, Сергей, жаль, конечно, но подготовились вы слабо, и думаю, вам не стоит тратить время на Одесскую консерваторию. Шансов на поступление у вас маловато...» И я, дурак, его послушал, и даже документы туда не подал. А зря! Поступил бы гарантированно, подвинув кого-то из протежируемых им скрипачей. И моя жизнь

сложилась бы совсем по-другому. Но это, видимо, была бы уже не моя жизнь.

А тогда (о чём я узнал гораздо позже) приехал на вступительные экзамены всего один контрабасист из близлежащего села, понимая, что скорей всего не поступит, и его схватили с руками и ногами. Показали ему контрабас и мотоцикл и попросили угадать, который из них контрабас? Он моментально, с третьего раза, почти угадал — и сразу же поступил, даже сыграть ему ничего не дали, да и меня бы схватили, так как я бы сразу спросил: кто такой мотоцикл? А меня не схватили, так как я поступать не стал, но Бенья Мордкович, сволочь редкая, тоже утёрся слегка, и вот почему.

Была у него любимая ученица, блестящая скрипачка Роза Мельник. Когда Роза играла на скрипке, то всем было сразу ясно, что вот именно так и надо играть, и никак иначе. Она, по неожиданному стечению обстоятельств, училась со мной в одном классе в школе Столярского, и тоже принадлежала к этой злосчастной группе евреев — струнных музыкантов. Но, в отличие от меня, среднего контрабасиста, скрипачка она была феноменальная, и Бенья Мордкович на Розу, естественно, делал ставку. Ну, при том, как она играла, сомнений в том, что она уже в консерватории, ни у кого, пожалуй, и не было. Поэтому пятёрка на первом вступительном

экзамене, которую единогласно поставила ей вся приёмная комиссия, никого и не удивила. Роза прекрасно сдала остальные семь экзаменов и получила... двойку на последнем. Последним экзаменом была история. Двойку по истории обычно ставят редким неучам, поступающим на исторический факультет университета, а вовсе не блестящей скрипачке, поступающей по классу скрипки в консерваторию. Всё со временем прояснилось и с ней, и со мной. У неё просто дядя уехал в Израиль за несколько лет до этого. И, видимо, перед самым последним экзаменом это и вскрылось (или знали раньше, но до последней минуты торговались: решали, кто кому и сколько... и, в конце концов, или Бенья недоплатил, или, наоборот, кто-то другой переплатил). Ну, а там уже всё понятно: дядя абитуриентки — изменник Родины... и все родственники... в ближайших сорока восьми коленах... на оккупированной коммунистами территории... ни за что не потерпим... в наших кристально чистых пионерско-комсомольско-партийных рядах... и т. д.

Такое ощущение, что это уже было лет за тридцать пять до того. Разоблачали иностранных шпионов и врачей-отравителей. Страдали и они, и их родственники. Хотя уже все знают, что шпионов никто не ловил, а те, кто шпионили, продолжают это успешно делать до сегодняшнего дня. И

травили свои — своих. Ну да ладно, об этом в другой раз.

Правда, я недавно смотрел жуткое кино про то, как осуждённого врача-генерала, одного из «отравителей», везут по этапу, издеваясь и засовывая ему что угодно и куда угодно в качестве развлечения, и вдруг догоняет их чёрный воронок, врача берут и везут к Сталину, который при смерти. По дороге его пытаются как-то привести в человеческое состояние после месяцев избиений и нечеловеческих унижений. И интересна беседа двух энкавэдэшников. Один спрашивает другого: не рискованно ли допускать такого опасного человека до Сталина, а второй говорит, что можно не волноваться, так как вся эта история выдуманная. Это такая политическая акция была, по уничтожению лучших (это уже моё заключение), и Сталин с друзьями очень, надо сказать, в этом деле преуспели.

Могу лишь добавить, что истории людей и стран, в которых они иногда по ошибке живут, имеют странную тенденцию повторяться. Но тот, кто забыл свою историю, обречён на вымирание (цитата неточная, но мысль — гениальная, хотя и не моя). А мы легко и быстро забываем историю, и это очень опасно. И влупят нам за это по первое число, я думаю. Ну, да не об этом здесь речь, так просто, к слову пришлось.

В общем, расклад получился следующий. Бенья меня зарезал зря. Розу, для которой он собственно место и расчищал, завалили, и она уехала в Донецк, где и поступила. А я, решив, что контрабасиста из меня уже не вышло, отправился на поиск СЕБЯ в других местах-городах, а со временем и странах.

Так бывает в жизни, что мы ищем себя где-то, где нас нет, а находим (и то не все, а лишь те, кому повезло) совсем рядом, то есть там, где ближе уже и некуда, прямо в зеркале, однажды в него взглянув и поняв, что искал не то, не там, и потому, вероятно, ничего не находил. Ну, это, пожалуй, уже мысли, догнавшие меня лет через тридцать после описываемых событий.

А тогда в моём поиске себя активную роль играла мама, которая решила, что меня надо вместо консерватории поступать на филологический факультет Одесского университета.

В связи с тройкой я был настолько расстроен, что даже не пошёл на выпускной вечер в школе. Естественно, сегодня я понимаю, что это была ужасная глупость, но тогда...

Совершенно логично, что такая подножка на время выбила меня из колеи. Я был обижен и растерян, так как консерватория — это было само собой разумеющееся направление для всех, гениальных или нет, выпускников школы Столярского.

Я сам не понимал, куда и зачем мне поступать, но у мамы было три ромбика, свидетельствующих о том, что она прошла этот славный путь трижды, невзирая на славную фамилию Абрамович (это, к сожалению, было ещё до того, как она стала популярной в России) и, видимо, знала, куда нужно поступать и зачем. Я не думаю, что её зарплата, к тому времени достигшая целых девяноста рублей в месяц, отражала её знания или опыт, или вообще что-нибудь, просто гуманитариям много тогда не платили. И почему-то мысль о том, зачем мне идти учиться на то, что может дать девяноста рублей, мне тогда в голову не пришла. А может быть, пришла, но я решил, что у меня-то фамилия Евелев, и вовсе не Абрамович, и меня не разгадают, по крайней мере, сразу, и дадут больше денег... может быть.

Мама сказала, что в университете работает много её бывших соучеников (то есть, у неё там были связи). А это дорогого стоило, и я начал готовиться к экзаменам.

И хотя, с одной стороны, можно было бы не упираться (связи-то есть), но, с другой стороны, иди знай... а вдруг опять заглянут в паспорт, или ещё куда-нибудь... а там — такое... и опять мордой лица в...

На одной из встреч в университете, в канун подготовки к экзаменам, я познакомился с

секретарём комсомольской организации. Он пришёл в неописуемый восторг, узнав, что я не только настоящий комсомолец с оплаченными взносами, который практически уже почти не верит в Бога, но ещё и дудец на разных музыкальных инструментах, плюс ещё пою, могу руководить самодеятельностью и знаю практически все ноты, ну большую часть-то уже точно!

— Считай, что ты уже поступил, — сказал он и пошёл куда-то, видимо, чтобы занести моё имя в список принятых.

Но на экзамены я всё же ходил и даже ухитрился получить три пятёрки по первым трём, кстати, без всякой протекции, как я думаю.

Но тут опять надо по порядку. На сочинении, выбрав вольную тему, я написал поэму про войну, и начиналась она так:

Стой, человек, здесь живёт тишина, здесь
головы мир склонил,

Двигается мерно людская волна вдоль
безымянных могил,

Взгляд опустив, боясь вздохнуть, чтоб их не
тревожить сон,

Каждый идёт, вспоминая путь, который сам
прошёл.

И потом ещё на пяти страницах в том же духе.

Я едва успел переписать с черновика в чистовик (кто помнит, черновик заставляли сдавать тоже).

Меня потом пригласили в деканат и сказали, что по поводу моего сочинения у них там разгорелись целые дебаты. Одни не верили, что я мог успеть это всё насочинять прямо там, на экзамене. Другие считали, что у меня двести пятьдесят знаков препинания не там «препинаются». А третьи говорили, что в стихах автор, то есть поэт, в смысле, я, имеет право ставить знаки препинания так, как он чувствует, и нельзя, мол, его насиловать жёсткими правилами, более подходящими к прозе. В общем, наши победили, и мне поставили пятёрку.

Потом был русский устный язык и литература. С языком всё было достаточно просто. Говорил я правильно, не по-одесски, о чём сегодня, может, и жалею. Но тогда за попытку говорить на знаменитом одесском языке был мамой бит нещадно и неоднократно, хотя большинство переломов уже срослись и раны затянулись. Правила я ещё все помнил, и ошибки делал редко. А вот на литературе, уж не знаю почему, меня по билету спрашивали две минуты, а остальные пятнадцать, просто проверяли моё умение реагировать на выпады врага в нештатной ситуации, видимо, из поступивших потом готовили разведчиков. Меня, например, попросили прочесть

любимый стих и доказать, что он гениальный.

Ну, я и прочёл «Я вас любил, любовь ещё, быть может...» Пушкина. Прочёл как надо, с выражением, и когда закончил выражаться, тут мне и напомнили о второй части вопроса — почему гениальный?

Думать, сами понимаете, было некогда, и я сказал — потому что ещё никому не удалось к этому крохотному стихотворению ни добавить хоть одно слово, ни улучшить его, хотя говорят, многие пробовали, как во времена А.С. Пушкина, так и после него. И если, мол, уважаемая комиссия считает, что в состоянии с этой задачей справиться (улучшить Пушкина), то я буду очень рад стать свидетелем эпохального события и признаю свою аргументацию гениальности пушкинского стиха несостоятельной.

Согласен, наглец, но это только от страха и неуверенности в себе. Хотя в этот раз сработало. Члены комиссии переглянулись и, убедившись, что желающих исправить Пушкина не обнаружилось, поставили мне пятёрку (хотя, может быть, и сработали мамины связи, кто знает?).

На истории, по которой я получил третью пятёрку, я долго рассказывал про Петра Первого, его реформы, приплетая стихи, что-то из фильмов, музыки, литературы, истории древнего мира, французской живописи... чечётку сбациал... Одним

словом, про Петра лично, его усиленный интерес к женщинам и, судя по легендам, особенный, даже выдающийся инструмент для проникновенного с этими женщинами общения, я успел рассказать немного, но, видимо, расширенным кругозором и умением вытаскивать из памяти (которая тогда ещё была) всякие разные факты и истории и увязывать их в один более или менее связный рассказ покорила всю комиссию.

Наступил последний экзамен по иностранному языку. Ну, всем понятно, что, имея в запасе аттестат 4,6 (средний балл), три пятёрки по трём экзаменам (нас таких оказалось всего семь человек из огромной толпы поступающих) и мамины связи, плюс то, что я был вписан в «реестр победителей» самим секретарём комсомольской организации университета как будущий спаситель их художественной самодеятельности (так как бывший руководитель вот только как «выпустился»), на последний экзамен можно было и не ходить. Ну а я, дурак, пошёл. А какими знаниями иностранного языка обладал выпускник средней школы? Прямо скажем, средними. Но в защиту обязательного среднего образования должен сказать, я знал его не хуже и не лучше, чем 95 % всех остальных. Но вы помните, что это было и не важно, так как я проходил даже с тройкой, но не с двойкой. А получил я... именно двойку. Выйдя из

аудитории с двойкой в зачётке, я произвёл сначала абсолютный фурор среди поступающих женщин. А это филфак, где почти все женщины. Народ был абсолютно уверен, что я уже поступил (потом оказалось, что некоторые дамы даже делали на меня ставку). Свинство, конечно, с моей стороны — так их подвести, но я подвёл. Говорили даже — узнав, что меня зарезали, кто-то там засомневался в целесообразности учёбы в университете. Затем я позвонил маме, поздравил её с тем, что она вырастила полного идиота, и сказал, что у меня наблюдается второй провал, и ещё что из меня теперь не получится не только музыканта, но ещё и филолога. А два, как мы знаем, всегда больше и лучше, чем один.

Потом я позвонил в обком комсомола, и вожак всех комсомольцев, выплюнув остатки обеда, прискакал мгновенно крупной комсомольской рысью и, как Паша Корчагин, весь в мыле, жаль только, что не во французском. Выслушав мой трагический монолог, он, взбешённый, не сказав ни слова, ворвался в аудиторию, где восседали авторы моей двойки. Находился он там минут пятнадцать, и вышел с лицом утопленника, затонувшего давно и основательно. Потом куда-то снова убежал и, вернувшись через полчаса, принялся со мной говорить. Он сказал, что произошло из рук вон выходящее событие, которое никогда не

происходило в его бытность в этих стенах. Мне никак не должны были ставить двойку, даже если бы я не открыл рта и молчал как целый батальон Зои Космодемьянских на допросе у гитлеровцев. Об этом было договорено. Это раз.

Любая оценка, которая ставится на экзамене, вначале заносится в экзаменационную ведомость, а когда экзамен окончен, то есть все выступили — только тогда уже оценки вносятся в Главную ведомость, откуда её уже потом «не вырубить топором» — это два.

Экзамен ещё не окончился, но каким-то магическим образом моя двойка уже красовалась в Главной ведомости — это три. Как она туда попала, и кто так спешил сделать всё необходимое, чтобы гарантировать моё непоступление, — ни он, ни я не знали, и это — четыре. Но было ясно, что за этим стоят какие-то серьёзные, туго знающие своё дело товарищи. Наверное, иностранная разведка постаралась, типа Моссад или, в крайнем случае, ЭМ-АЙ-6 (где Джеймса Бонда тренировали против нашего филфака)...

Но на этом моя эпопея не закончилась, а наоборот, можно сказать, только началась.

Потерпев филологическую неудачу вслед за контрабасовой, мы с мамой вспомнили, что папа мой окончил консерваторию по факультету хорового дирижирования, который бабушка

почему-то презрительно называла «курсом парового отопления». Кстати, водопроводчикам и специалистам по паровому отоплению не так уж плохо там и жилось: везде тебе и выпить, и закусить, и на лапу. Да и немало одиноких домохозяек, которые могли запросто, в порыве благодарности и от дневного одиночества, по окончании водопроводных работ с водопроводных дел мастером... И не нужны тебе никакие консерватории, по окончании которых ни тебе первого, ни второго, ни третьего, ни, естественно, компота на десерт (не говоря уже о том, что в консерваторию ещё поступить надо).

И мы решили, что, не став филологом или контрабасистом, я ещё могу, например, не стать и дирижёром хорovým. Взяли учителя, и я начал готовиться к главному экзамену. На нём я должен был дирижировать два произведения. Я их достаточно быстро выучил и, решив больше с родной Одессой не связываться, поехал сразу на Волгу, где в течение одного лета успел блестяще провалиться в четырёх консерваториях. Я так быстро обернулся, потому что выбрал те вузы, где экзамены начинались в разное время, а так как мне, слава Богу, ставили двойку сразу на первом экзамене, чтобы волынку не тянуть (за что всем особое спасибо), то я успел заехать и в Астрахань, и в Саратов, и в другие не менее славные города

родного Поволжья. Нигде, правда, поклонников моего, тогда, видимо, ещё неокрепшего таланта, я не нашёл, зато поел арбузов, на людей посмотрел и себя, как говорится, показал, даже если и не в лучшем виде. Кстати, для меня это был первый в жизни самостоятельный выезд за пределы родного, так невзлюбившего меня города, чем я втайне очень гордился. А может, Одесса на меня обиделась, что я не говорил на её удивительном и неповторимом языке? Но я ведь — хотел, только мама вот не разрешала, так за что же меня-то наказывать?

Когда я вернулся домой, мы с мамой, как говорится, «подбили бабки».

Результаты оказались неутешительными. Я продемонстрировал вопиющее неумение дирижировать, играть на контрабасе и говорить по-английски, хотя можно было и молчать.

То есть, вырос из меня настоящий оболтус и неуч. Поверить в это и мне, и маме было трудно, но факты были налицо. Страна мудрых Советов всегда и всем... в лице ряда городов меня признавать отказывалась. И тогда я задумался, а в той ли стране вообще я живу? Но только задумался. Правда, как говорят знающие люди, случайных мыслей не бывает. И, задумавшись однажды, к этим мыслям возвращаешься снова и снова, и так до тех пор, пока либо мысли тебя посещать перестанут, и ты от планов своих не откажешься, или наоборот,

пока их не реализуешь.

И поэтому, понимая, что попахивает армией, мы с мамой сделали ход конём, и я был принят без экзаменов на одногодичный факультет водителей и автослесарей в ТУ-2 (техническое училище номер два, на улице Мечникова). Оно давало профессию водителя, нужную в армии (куда при таком раскладе вполне можно было и загреметь), и самое главное — год отсрочки от армии. А для меня возможность следующим летом ещё куда-то попробовать не поступить. Мы, правда, с мамой ещё не решили, куда, но у нас целый год был впереди, и профессий, с которыми я ещё не опозорился, куда ни плюнь — везде полно.

В сентябре все поехали собирать помидоры. В группе моей в основном учились ребята из деревень и колхозов, для того чтобы получить разряд автослесаря и профессиональные водительские права. Они про помидоры всё знали и даже могли их узнать в лицо. Я видел сбор помидоров раза три по телевизору, чёрно-белому, и то мельком. Я думал, что они растут на деревьях. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что они не только растут на кустах, но и собирать их нужно не машиной, которая красиво так и важно едет по полю и собирает их сама. У этой машины, как мне казалось, должны были быть два больших железных рукава. Она едет через помидорные

заросли, и один из рукавов вьётся по земле, засасывая спелые помидоры, а из другого они выезжают уже в стеклянных банках, консервированные и с этикетками. Но этого ничего не было. Только мы, собиратели, которые должны были лазать на четвереньках и обдирать эти кусты вручную. Причём не все помидоры были уже готовы для сбора. Нужно было одни срывать, а другие, наоборот, ещё нет. Они, оказывается, разного цвета, что мне было до лампочки, скоро узнаете, почему, и поэтому я думаю, что срывал все не те. И ещё там ползало, летало и бегало большое количество разных противных существ: насекомых, жуков, гусениц, птиц, змей и других обычных представителей нашей необъятной фауны.

Не подумайте, пожалуйста, что я об их существовании не знал. Слава Богу, у нас был Сенкевич, и я лично с ним прилично по всему миру, сношаясь через телевизор (в хорошем смысле), попутешествовал. Но вблизи я червяков, черепах и всяких других полевых крыс не видел. Как-то они у нас в городе были непопулярны, ели мы всё больше рыбу и курицу. Нет, вру — были у нас животные двух видов (не считая кошек и собак): тараканы, которых моя бабушка почему-то называла — таркань, с ударением на последнем слог, и ещё были клопы. Клопы жили в диванах и пили народную кровь ещё со времён Луначарского или,

может быть, даже ещё раньше. И если, в попытке избавиться от них и перепробовав безрезультатно все возможные отравы, диван с клопами выносили на улицу, то они (клопы), заносили его обратно.

Нам говорили, что буржуи пили кровь пролетариата — это я помню. Значит, получалось, что из нас пили кровь буржуйские клопы.

Сборщик помидоров из меня получался не очень (вот и ещё одним талантом меньше).

Норма была нечеловеческая: пятьдесят пять ящиков на человека в день. Нам сказали, что за выполнение этой нормы нас будут кормить, поить и дадут, где спать.

После короткого инструктажа нас разбили на бригады, и всё закрутилось. Часа через три после начала сбора я понял, что, видимо, меня в этих помидорах и похоронят, ни разу не образованного. Ноги горят, спина гудит, голова болит. Пришлось опять включать мозги. Я разработал схему, при которой вместо того, чтобы собрать на пятерых в нашей бригаде двести семьдесят пять ящиков, мы обходились где-то сотней (приблизительно одна треть нормы). Работали так: собранные ящики грузились на подводу, записывались, учитывались, и подвода ехала дальше по полю к месту, где стояла следующая порция ящиков с помидорами. И ничего тут нет удивительного: обычное высокомеханизированное производство. НО: до

начала рабочего дня все сбрасывались по двадцать пять копеек, я высылал наряд за водкой, и самый крепкий (это был не я) с утра распивал одну бутылку с водителем подводы и вторую — часа в два дня, чтоб не отлегло. Наш человек закусывал помидором, а водитель вообще не закусывал, так как у них там после первой бутылки вообще не закусывали. Кстати сказать, он и после второй тоже не закусывал, но я уже не помню почему.

В результате водитель был всё время навеселе, и полупартийная бдительность его временно отсутствовала по уважительной причине. А мы, только что загрузив ящики на подводу, пока он к следующему месту ехал, две трети ящиков с подводы на ходу снимали и потом сдавали их опять, когда он на той же подводе ехал в другую сторону. Он, водитель лошади, был всё время в хорошем настроении и, как истинный боец сельхозфронта, назад не смотрел и ничего подозрительного не слышал. Так что норму мы выполняли раньше всех, и я был назначен бригадиром за правильную организацию производства. И всего через каких-то три недели, объевшись на всю жизнь помидорами, искусанный комарами и другими голодными насекомыми, которые не ели помидоры, а также с чёрными ногтями, под которыми, как мне казалось, навсегда застряла память о чернозёме, я вернулся назад и

приступил к изучению трансформаторов, карбюраторов и других «дегенераторов». Я точно не помню, это разные вещи или одно и то же?

Учиться всем было нетяжело: ребята, как я уже говорил, в основном были деревенские, все гоняли с детства на тракторах да мотоциклах и, естественно, могли их даже и починить, если что.

А вот для меня это был суший ад. Я почти ничего не понимал, хотя, казалось бы, от контрабаса до карбюратора — один шаг. Но если человек тупой, как говорил Циолковский, то это надолго. Вот и я с каждым новым предметом, который пытался постигать, всё больше убеждался в том, что на мне и моих талантах природа решила отдохнуть, причём надолго.

Год пробежал незаметно, и экзамены выпускные я сдал, хотя до сих пор не понимаю — как? Мне торжественно при всех вручили диплом механика третьего класса по ремонту автомобилей.

Но главной целью, как вы помните, было получение профессиональных водительских прав на случай, если все вузы страны так и будут стоять неприступной стеной, и мне придётся идти в армию водителем.

С вождением я справлялся хорошо, и накануне экзамена мы всем классом отправились на медицинскую комиссию. Никто так особо не переживал, трактористы, комбайнёры — ребята

молодые, здоровые. Захожу к главному врачу, он проверяет зрение — оно, естественно, прекрасное. В следующем кабинете меня встречает скучающего вида дама неопределённых лет и показывает страницу книги, спрашивая, что я вижу. И тут я понимаю, что погиб. Безвозвратно, бессмысленно. Год потерян зря, и прав водительских мне не видать, как поясицы без зеркала. Зачем только я учился собирать помидоры, менять в машине масло... на сало и разбирать трансформатор на карбюратор, или что-то там такое тархтящее, как расстроенная балалайка?

А теперь немного предыстории: у меня в раннем детстве обнаружили странные взаимоотношения с цветами. Не с теми, которые лютики и незабудки, а с теми, которые синий, зелёный и в редких случаях даже коричневый. Предупреждаю, что это будет непонятно всем тем, у кого нет проблем с цветами.

Итак, дедушка мой с маминой стороны был дальтоником. Говорят, что они видят всё в белом или чёрном цвете. Я же вижу все или очень многие цвета, но часто не знаю их названия.

Я предупреждал, что многим будет непонятно, как это — цвет видишь, а названия цвета не знаешь? Но вот я такой. И, кстати, не один. Нас, говорят, где-то один такой уникам на миллион нормальных. Правда, у меня эта путаница не со

всеми цветами. Я узнаю всегда жёлтый и синий, белый, иногда чёрный. НО! Запросто могу зелёный назвать красным, красный — коричневым, серый — зелёным и тёмно-синий — чёрным.

Да-да, для меня ехать на светофоре нужно на «нижний» кружок, а не на «зелёный» цвет... этот зелёный для меня вообще не зелёный, а такой себе... белёсый.

Ну да ладно, не буду никого пугать объяснением того, как я езжу за рулём последние тридцать лет. Итак: в книге для проверки цветоощущения — около пятидесяти страниц. На каждой странице расположились сотни разноцветных точек, но таким образом, что тот, кто все цвета видит, сразу замечает, например, красный треугольник на зелёном фоне или розовую цифру «пять» на коричневом фоне. На первой странице, показанной мне цветовой инквизиторшей, была чёрная цифра «десять» на бледно-голубом фоне, как небо. Это я видел и потому громко сказал:

— Десять!

Она наугад открыла другую страницу. Учтите, что она сидит лицом ко мне и сама страницы книги, которые показывает, не видит. Да ей, собственно, и зачем? Она этой скучной процедурой занимается целый день. Можете себе представить, как ей это надоело?

Я понимаю — тем врачихам, которые просят раздеться, наклониться и развести ягодицы (но это, правда, на другой медкомиссии — когда идёшь в армию) — вот им не скучно! Хотя, с другой стороны, тоже интересно — а что они там надеются увидеть: хвост, клад, шифр, печень?

Итак, на второй странице я, с большим трудом и риском для жизни, почти что не видя, угадываю треугольник, который вижу лишь частично, скорее, чувствую внутренностями. Цвет уже не помню. Есть! Угадал. Неужели пронесёт, мелькнула мысль?

И, заканчивая проверку, без всякого энтузиазма перелистнув добрую половину книги, показывает она мне страницу, где я НЕ ВИЖУ НИЧЕГО! — ну, то есть вообще ничего, кроме сотен разноцветных кружочков, явно прячущих в себе какую-то гадкую фигуру, букву или цифру, но я их не вижу. Любой из вас бы её увидел, но не я.

Времени для раздумий нет, включаем мозги в режим «срочный поиск выхода из безвыходной ситуации»... и я говорю:

— Доктор, вы знаете, здесь так странно на страницы падает свет из окна, что я не могу рассмотреть.

Говорю так спокойно, даже слегка развязно, чтобы в ней не разбудить следопыта. Она тоже, так же лениво, поворачивает книгу к себе лицом и говорит:

— Да, пожалуй, я эту двойку и сама едва вижу.

— Я, пожалуй, включу свет, чтобы другим было хорошо видно. Здесь цифра два, — подхватываю я и, не дожидаясь продолжения, направляюсь к выключателю.

Включаю свет и... выхожу из кабинета. Иду и жду, что она сейчас закричит мне вслед: «Куда же ты, у меня для тебя есть ещё парочка страниц с кружочками!», но никто не кричит, и каждая секунда длинна как жизнь, которая всегда ходит рядом со смертью. Я иду по коридору, время ползёт за мной. Никто не кричит, а это значит, ЧТО — Я — ПРОСКОЧИЛ!

И я таки-да, проскочил, всё сдал и получил права. А двенадцать человек из шестидесяти пяти права не получили. Кто-то плохо ездил, кто-то плохо видел, а четверо завалили экзамен по цветам. Но я, по счастливой случайности, плюс находчивость, плюс везение, в этой группе не оказался.

Ну что же, вот я и водитель-автослесарь, с трудом отличающий трансформатор от карбюратора, неудавшийся филолог-контрабасист, отвратительный дирижёр со средним музыкальным образованием. По-моему, очень даже стройненько получилось, и вполне достаточно, чтобы сбить с толку любого следователя.